АНДРЕЙ СТОЛЯРОВ

ДЕВЯТЬ ЦАРСТВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Повесть-фэнтези известного писателя продолжает традиции петербуржской городской сказки. Фантастический мир Ойкумены – второго лика Великого Города – втягивает убогого серого героя в цепь фантасмогорических событий...

- Андрей Столяров
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11

Андрей Столяров
АЛЬБОМ ИДИОТА

Глава 1

Я расскажу все, как было, – ни о чем не умалчивая и ничего не добавляя от себя.

Шторы были задернуты. Трепетала зелень на индикаторах магнитофона. Гитара, изнемогая от любви, выщипывала гортанные перезвоны: «О, прекрасная донна, подари мне эту розу!.. О, прекрасная донна, я навсегда сохраню ее!.. Подари эту розу, как память о нашей встрече!.. О, прекрасная белая роза!.. О, как она свежа!..»

Голос обволакивал собою пространство. Сладость, нега и безразличие пропитывали его.

Анпилогов поднялся и медленно скрипнул зубами.

– Я исчезаю, с меня хватит, – сдавленным, нехорошим голосом сказал он. – Зубри текст, Александр. Шестого ты обязан петь, как соловей.

– Соловей из меня хреновый, – ответил Игнациус. – К тому же до шестого еще надо дожить.

Тогда Анпилогов неприятно сощурился.

– Тебя что-нибудь беспокоит? – спросил он.

– Да все то же, – вяло ответил Игнациус.

– Грун?

– Конечно. Мне кажется, мы торопимся.

Анпилогов нагнулся и обеими руками взял его за кончики воротника:

– Никакого Груна не существует. Не было, нет и никогда не будет. Я советую: выбрось все это из головы. Крысятник уже давно шебуршится. Ты же знаешь, какой у них жуткий нюх. Если кто-нибудь где-нибудь вымолвит хотя бы полслова… Александр!.. Все это может обрушиться…

Он буравил Игнациуса прищуренными глазами.

– Порвешь рубашку, – мрачно сказал Игнациус.

В комнате стоял цветной полумрак. Одинокая ленивая пара танцевала посередине гостиной – изгибаясь и тесно прильнув друг к другу. Было видно, что – Эмма и кто-то еще. Багровела, спускаясь до пола, суставчатая бегония. Низенький, скучный, насупленный Эритрин, прислонившись к книжному стеллажу, обкусывал бутерброд с серой семгой. Борода его двигалась вверх и вниз, а желтушная кожа на лбу собиралась морщинами. Игнациус тоже хотел есть. Семгу, однако, купили не для него. Он знал об этом. Сеньора Валентина под апельсиновым немецким торшером оживленно беседовала с двумя плечистыми лакированными молодыми людьми, которые, подрагивая

вытянутыми ногами, поспешно жрали маслины. Разговор, по-видимому, шел об Испании. Всплывало – идальго и акапулько… Валентина смеялась и после каждой фразы трясла мелко завитой розовой головой. Увидев Игнациуса, картинно воздела руки:

– Представляешь!.. Они недавно ходили по Эспланада дель Косо!

– Неужели в этих самых ботинках? – изумился Игнациус, опускаясь на корточки и внимательно разглядывая подошвы.

Лакированные юноши, оторопев, назвали себя: Кенк и Пенк, – из вежливости перестав жрать. Он не понял – это клички или фамилии.

Громко поцеловал жену в лоб:

– О, белая роза!.. О, как ты свежа!..

– Вы закончили? – нервно сказала сеньора Валентина. – Тогда, пожалуйста, присмотри за Пончиком. Что-то он мне сегодня не нравится…

Подошел тоскующий Эритрин и, дожевывая скупые волокна на хлебе, как о чем-то само собой разумеющемся, попросил:

– Разменяй сто рублей.

– Откуда? – пожал плечами Игнациус.

Эритрин, как гиена, проглотил последний кусок.

– Понимаешь, этот жмудик клянется, что нет мелких денег. Он мне десятку должен. Ведь замотает, я его знаю…

– Где находится Сонная улица? – спросил Игнациус.

– На Фонтанке, около Репина, – ответил озабоченный Эритрин. – Ты вот что, не суйся туда, сожрут с потрохами…

– Это – как?

– А вот так. Сожрут и не поперхнутся… Слушай, может быть, дашь мне полтинник до вторника? Я честно верну, я – не Жека…

Эритрин был исключительно деловой. Впрочем, сегодня Игнациус на него чихал. Он до боли, до судорог выворачивал шею. Аня сидела на диване в углу, и ее бодро теснил какой-то редковолосый, облизанный как червяк, скользкий гуттаперчевый тип, закинувший руку на спинку – полуобнимая. Шептал что-то мокрыми шлепающими губами. Она, отогнув край шторы, глядела в снежную пустоту.

Это, вероятно, следовало прекратить. Игнациуса потянули в пузатое кресло. Черноглазая разгоряченная Эмма приблизила к нему овечье лицо. Он внимательно посмотрел – а кто же танцует? Танцевала теперь, оказывается, сеньора Валентина. Причем – точно так же, безудержно прижимаясь. Он тихо присвистнул. Эмма, отвлекая, схватила его за ладонь.

– У меня к тебе оч-чень серьезная просьба…

– Эмма Арнольдовна! Товарищ Булкина! – перекрывая

сладкую музыку, сказал Игнациус.

Эмма дернулась, точно ошпаренная. Она терпеть не могла, когда ее называли официально. Говорят, что Жека скрывал свою фамилию до последней минуты, все анкеты в ЗАГСе заполнил сам. Она услышала ее только при регистрации. Потом неделю рыдала.

Прежнее имя, конечно, звучало мощнее – Эмма Неголая.

– Давай твою просьбу, – сказал Игнациус.

– Мы с Валентиной хотим серьезно заняться языком, – обиженно протянула Эмма. Тронула бриллиантовые висюльки в ушах. – Я договорилась со Стасом, он водит испанцев. У него настоящее каталонское произношение. Будем брать уроки два раза в неделю, это недорого.

– Ты уверена, что вам нужен именно испанский? – спросил Игнациус. – Не суахили, не древневерхненемецкий? Вы же собирались голодать по системе Бронц-Мюллера. А до этого, я помню, реставрировали иконы. Между прочим, паркет я до сих пор не могу отмыть.

– Алекса-андр!.. – умоляющим голосом воскликнула Эмма.

– Честно говоря, питаться дафниями – спокойней.

– Ну, Алекса-андр!..

Задыхающийся Игнациус отодвинулся.

– Ладно, сдаюсь… Объясни мне только, где находится Сонная улица?

– На Голодае, – мгновенно ответила Эмма. – Я жила неподалеку целых два года. Ужасный район. Переулок Каховского, Сонная, дальше – Проезд…

– А кто такой Стас?

– Тот, что танцует.

Игнациус посмотрел, как пара по центру комнаты сливается в некоем действии, мало похожем на танец.

– Каталонское произношение, значит… А если попросту, без затей, дать ему в морду?

– Ты с ума сошел, все так танцуют…

– Правильно, я чокнутый, – сказал Игнациус.

– Стас – серьезный каратист, – предупредила Эмма.

– Ну и что?

– Куда тебе против него.

Игнациус задумчиво произнес:

– Помнится, у Жеки был среди инструментов небольшой ломик. Новенький такой, как раз – мне по руке…

Эмма тут же исчезла и появилась сеньора Валентина, которая процедила, улыбаясь всеми зубами, чтобы не привлекать внимания:

– Ты можешь вести себя нормально?

– Когда я вижу этих ребят, у меня уши сворачиваются трубочками, – сказал Игнациус.

– Пожалуйста, никаких историй.

– Никаких историй не будет.

Он засмеялся. Ему было весело. Из-за дверей, ведущих в детскую, доносились дикие возгласы. Игнациус просунулся в щель. Пончик и Ботулин, разворотив постель, лупили друг друга подушками. Они визжали и прыгали от восторга. Летал белый пух, торчали ножки перевернутых стульев. А из опрокинутой керамической вазы, державшей камыш, натекла вдоль паласа извилистая черная лужа. Оба вдруг замерли, увидев его: возбужденные, потные, испуганные, взъерошенные.

– Обливаться чернилами намного интереснее, – сказал Игнациус.

Прикрыл легкую дверь.

Сразу же возник тот тип, что пытался обнимать Аню.

– Никакого просвета, как глухая, наверное, лесбиянка, – доверительно сообщил он. – Я уже нарывался на таких, ну ее в задницу. Проще снять вон тех дур, сами разденутся. Морды, правда, у них керосиновые. Хрен с ним, в темноте не видно.

Он явно принимал Игнациуса не за того. От бесцветных, липких волос его разило духами.

– Пошел ты – туда-сюда, – довольно вяло сказал Игнациус.

Тип отвалил челюсть.

– А чего?

– Ничего.

– Выступать будешь?

– Просто тошнит.

– Ногами давно не били?

– Договорились, – сказал Игнациус. – Подожди меня на улице, я – сейчас…

Немедленно вынырнул откуда-то запаренный ушастый Жека.

– Говорят, ты сегодня на всех кидаешься? Это – Леша Градусник, он мне трехтомник Лондона сделал… Слушай, твоя улица, оказывается, находится на Петроградской. Точно выяснил – в справочнике ее нет. Где-то возле трамвайного парка, пересекается с Маркова. Знаешь, что?

– Что?

– Федя Грун спрашивал о том же самом.

– Удалось что-нибудь выяснить?

– К сожалению, нет… Имей в виду, Александр, шестого все должно быть на высоком идейно-художественном уровне. Я иду вслед за тобой. Есть договоренность. Ты – понял? А теперь –

разменяй сто рублей…

– Откуда? – вторично пожал плечами Игнациус.

– Представляешь, этот жмудик клянется, что – нет мелких денег. Он мне должен червонец. Ведь замотает, я его знаю. Или, может, одолжишь полтинник до вторника?

– Выгони ты их всех к чертовой матери, – сказал Игнациус.

– И в самом деле кидаешься, – удивился Жека.

«Я гляжу на эту печальную розу и думаю о тебе», – возвещали колонки. Игнациус пересек душную комнату и сел рядом с Аней.

– Мы не виделись три недели, – пробормотал он.

Она обернулась:

– Двадцать два дня.

– Ты тоже считаешь?

– Конечно.

Игнациус слабо кивнул.

– Никто не знает, где находится Сонная улица, – сказал он.

– Вот и хорошо.

– Телефона у тебя тоже нет?

– Разумеется, – ответила Аня.

– Как же я тебя найду?

– А ты уверен, что надо?

Игнациус даже вздрогнул.

– Тогда найдешь, – сказала Аня приветливо.

– А она вообще существует, эта Сонная улица?

– Я там живу, в доме четырнадцать.

– А квартира?

– Лучше все-таки не приходи…

Игнациус отодвинулся. Опять то же самое. За отогнутой шторой взмахивал крыльями фантастический густой снегопад. Вязь снежинок крутилась и – вдруг замирала. Танцевали крупные хлопья. Было ясно, что жизнь на сегодня заканчивается. Эмма, объятая Стасом, смотрела на них, распахнув злые глаза. Валентина, напротив, демонстративно не замечала. Лакированные юноши, присев перед ней, вскрывали громадную коробку конфет. При этом тоже – оглядывались. Игнациус чувствовал, что проигрывает важные семейные баллы. Вероятно, теперь придется соглашаться на Стаса. Впрочем, наплевать.

– Сигарету? – предложил он.

– Нет, – ответила Аня. – Но если ты хочешь позвать меня, скажем, на кухню и попытаться поцеловать, то это можно сделать без всякого надуманного предлога.

– А ты позволишь? – поинтересовался Игнациус.

– Разве об этом спрашивают?..

Тогда Игнациус взял на подоконнике воздушную чашку с

дутым золотистым лотосом на боку, безразлично повертел ее перед собой и – разжал пальцы.

Чашка звонко разбилась.

– Я бы хотел, чтобы тебя никогда не было, – сказал он.

– Я бы тоже этого хотела, – сказала Аня.

Сеньора Валентина уже поднялась, раздувая хрящеватые ноздри, уже выгнула брови и твердо шагнула вперед, по-видимому, собираясь вмешаться, но в это время раздался грохот и возбужденные голоса в прихожей. Беспощадно отдернули шторы. Блистающая громадная снежность ошеломила комнату. Всхлипнув, разом заткнулся выключенный магнитофон. Замерли серые вспученные фигуры – недосогнув руки и туловища. Оказывается, Градусник, устав ждать на улице, вернулся и дал по физиономии Эритрину, который как раз надевал в прихожей дубленку. Дал очень сильно. Но не попал. Вместо этого залепил в цветное бра на стене и своротил его, выдернув с корнем шурупы. Эритрин не остался в долгу и ударил ботинком. В результате перестала существовать тумбочка под телефоном. Кстати, сам телефон – тоже. Вдруг стало тесно. Все сгрудились, словно в бане, на двух квадратных метрах прихожей. Толкались и говорили одновременно. Жека, посверкивая потной макушкой, объяснял, что так приличные люди не поступают. Они – у него дома. А у него дома так приличные люди не поступают. В свидетели он призвал Игнациуса. Игнациус подтвердил, что так приличные люди не поступают. Они – у него дома. Ну и так далее… Градусник, увидев его, попытался облапить и радостно завопил: Поехали к женщинам, Иннокентий!.. Куда ты меня притащил – козлы тут всякие… – Его с трудом оторвали и вытолкали на лестницу. Потом вытолкали вдогонку побледневшего Эритрина. Тот не хотел уходить, а, очутившись все-таки на площадке, устремился не вниз, как положено, а вверх, к чердаку.

– Пошли домой, – не разжимая презрительных губ, сказала сеньора Валентина.

Она была уверена, что все это подстроил Игнациус.

– Сейчас, – пробормотал он. Не обращая ни на кого внимания, очень быстро и крепко взял Аню за плечи. Она была теплая. Вытекал белый пар из форточки. – Я тебя найду, я обязательно разыщу тебя… Пожалуйста, не торопись, не решай ничего – сию же минуту…

– Только громче стучи, там звонок не работает, – сказала Аня.

Жека интеллигентно оттеснил ее в сторону:

– Собирайтесь, собирайтесь, ребята…

Сеньора Валентина меж тем уже извлекла откуда-то Пончика, разрисованного чернилами. Он был как индеец – в вихрастом

налепленном пухе. Подушку они все-таки разодрали. Пончик ныл, что еще очень рано и что надо бы еще поиграть – хоть чуток. А сеньора Валентина пихала его и шипела, явно сдерживаясь при посторонних. Зато Эмма не сдерживалась – всадила здоровую оплеуху, и обиженный Ботулин заревел, как стадо диких слонов.

– Дура, – сказал ей Игнациус.

Лакированные юноши с интересом наблюдали за сценой, какую не встретишь на эспланадах, а высокий Стас, отстранившись и как бы не замечая, элегантно курил, держа сигарету за кончик фильтра.

Аня почему-то стояла к нему вплотную.

На улице Валентина сказала Игнациусу:

– Ты вел себя отвратительно. Собрался доклад репетировать, так репетируйте. Анпилогов твой даже не поздоровался – тоже интеллигент… Перестань! – крикнула она Пончику, который, увлеченно жужжа, загребал снег сапогами.

До метро был целый квартал. Жека обитал на краю города. Яркое малиновое солнце висело меж зданий из крепкого инея. Свежий снег был истоптан глубокими синими тенями. Клубился пар над отдушинами люков. Саженцы на бульваре безнадежно оцепенели до самой весны.

– А завтра Валерка приедет к нам? – спросил Пончик.

– Не приедет, – отрезала Валентина.

– Я хочу, чтоб приехал, у него там – пистоны, – привычно заныл Пончик. – А ты когда еще обещала купить и не купила…

Они втиснулись в поезд метро. Народу было столько, что Игнациуса слегка сплющило. Сеньору Валентину прижало к нему. Даже сквозь шубу чувствовалось, что состоит она из одних костей. У нее дергалось морщинистое напряженное веко, и на скулах горели два красных мятых пятна. Игнациус старался на нее не смотреть. Она была очень недобрая.

Глава 2

Дальше было так.

Созоев распахнул голубые младенческие глаза, где – в сиянии – не было ничего, кроме искренней радости.

– Александр!.. Александр!.. Просто – Саша! – вскричал он. – Как чудесно, что вы заглянули, мой дорогой!.. Проходите же!.. Проходите, не стойте!.. – слегка подталкивая сзади, пригнал его в комнату, увешанную цветастыми блюдцами, темными громоздкими давящими картинами и различными фотографиями в вычурных деревянных рамках. – Мара! Мара!.. Посмотри же, кто к нам пришел!..

Появилась заспанная всклокоченная испуганная Марьяна, у которой из-под халата торчала нижняя юбка, и, как курица, злобно уставилась на Игнациуса.

– Здравствуйте. Извините меня, – неловко сказал он.

– Чаю нам! Чаю!.. – кричал Созоев.

Он стремительно хохотал, словно булькал водою, и делал массу лишних движений. Элегантный костюм сидел на нем, как на арбузе. Округлившись, без складок. Галстук броско алел на выпирающем животе. И блистали граненые запонки на манжетах. Игнациус, проваленный в кресло, зажал ладони между колен. Он всей кожей ощущал, что будут серьезные неприятности. Потому что иначе не стали бы его вызывать. Время было скандальное – воскресенье, восемь утра. Или, может быть, объявился блудный сын? Непохоже. У него неприятно и сильно заныло в груди. Полчаса назад он звонил Анпилогову. К счастью, Геннадий уже проснулся. Некоторое время причмокивал в трубке, туго соображая, а потом, вдруг опомнившись, сформулировал приговор: «Старик совсем спятил. Это у него – возрастное. Ничего не бойся и держись нагляком. Как известно, он при этом теряется». Совет был мудрый. Но не очень. Поэтому Игнациус на всякий случай отмалчивался. Делал вид, что спросонья не понимает. Впрочем, так оно на самом деле и было. Мгновенно, дохнув летней мятой, возник крепкий чай, в меру горячий и в меру густой, с аккуратными твердыми дольками желтеющего лимона. Совершенно ненужный был чай.

– Я еще вчера говорил Маре: хорошо бы Саша нас навестил, побеседовали бы с ним, посмеялись… Кладите песок, Саша. А почему так мало? Кладите больше!

– Я пью без сахара, – нервно сказал Игнациус.

– Да вы не стесняйтесь! – бурлил Созоев. – Еще одну ложечку, прошу вас! Ну – еще одну… Уже четыре? Зачем их считать?

Сколько надо, столько и кладите! Мара, Мара, а где давешнее печенье?

Марьяна так же злобно потыкала Игнациусу в плечо мелкой хрустальной вазочкой. Он взял сразу шесть песочных розеток, чтобы наверняка отвязаться. Все-таки ему было чрезвычайно не по себе.

Осчастливленный визитом Созоев дул в чашку.

– Как ваши дела, Саша?

– Вроде бы неплохо, – сказал Игнациус.

– Как здоровье?

– Дня три еще проживу.

– Как ребенок?

– Ребенок – парализованный.

– А жена?

– Утверждают, что – делириум тременс.

– Хе-хе-хе… Вы все шутите, Саша…

Но Игнациус отнюдь не шутил. Зима в тот год выдалась голая и сухая, какие бывают раз в десятилетие. Очень рано ударили морозы, стиснув небо светлеющей синевой. Почернела сырая листва в садах. Остекленели реки. Ночью свистал ветер по мерзлым щелям и царапала камень редкая крупяная пороша. В конце ноября пропал Грун. Он никого не предупредил и не оставил записки. Просто исчез, без следа растворившись в толчее четырехмиллионного муравейника. Это была катастрофа. Потому что защита его была назначена на январь. Все уже было готово. И документы оформлены. Жека дважды, как цуцик, мотался к нему домой. Выяснилось, что Грун переехал, и новые жильцы не знают – куда. Там был сложный многоступенчатый жуткий обмен. Больше его никто не видел. Через две недели по почте пришло заявление об увольнении. Администрация взвыла. У Созоева был сердечный приступ. На кафедре многозначительно переглядывались. Игнациус, как больной, равнодушно и вяло бродил по ободранным коридорам, натыкался на шумных студентов, отвечал невпопад, неумело закуривал чужие вонючие сигареты, – все валилось из рук: в узких стиснутых приборами кабинетах, в невозможных курилках и в моечных закутках под усмешки, под звяканье скальпелей – решалась его судьба. В декабре начались снегопады и роскошной жаркой периной укутали дворовую наготу. Будто гейзеры, вспучились яркие сугробы. Побелевшие улицы воспрянули чистотой. Что-то изменилось в мире, сдвинулось на волос. Смущая слабые души, прошел ученый совет. Игнациуса сдержанно поздравляли и жали руку. Рогощук – улыбался. Мамакан – благосклонно кивал. Обнаружились силы, зовущие в сладкую пустоту. Между тем

морозы слабели. Очищалось к полудню громадное солнце, и загорался над крышами огненный рыжий туман. Вдруг затенькали тоненькие сосульки. Жизнь была удивительна.

– Андрей Борисович, – напрямик сказал Игнациус. – Вы меня срочно вызвали час назад. Я же не мальчик. И давайте не будем обходиться намеками.

Созоев замигал, как пулемет.

– Я?!. Вас?!. Вызвал?!. Не может быть!!. – Обернулся к Марьяне, которая хищно сощурилась и повела крючковатым носом. – Марочка, принеси нам… м-м-м… что-нибудь. – А когда Марьяна, буркнув в усатую губу, недовольно вышла, привалился к столу, насколько позволял полный живот. – Никогда не посвящайте жену в свои дела, Саша. Никогда, никогда, никогда! – И откинулся очень довольный собою. – Значит, я вас вызывал? Интересно. А вы, Саша, не знаете, зачем я вас вызывал?

Игнациус сломал ноготь о подлокотник.

– Чтобы исполнить «Гоп со смыком». По-видимому. На два голоса.

Ему страшно хотелось запустить печеньем в мягкое улыбчивое пухлощекое лицо напротив. А потом взять что-нибудь потяжелее, типа лома, и вдребезги сокрушить лаковые дверцы шкафов, за которыми прятались журналы прошлого века, смести торжественные картины со стен, порвать фотографии, перевернуть стол и на мелкие кусочки раздробить рогатую малахитовую чашу в углу.

– Правильно! – воскликнул Созоев, избегая смотреть ему в глаза, белотелым мизинцем вылавливая из чашки чаинку. – Отлично, что вы вспомнили, Саша. А у вас, Саша, талант – я давно замечаю…

Три морщины перечеркнули его гладкий лоб.

– Андрей Борисович, – подавив раздражение, сказал Игнациус. – Ведь мы заранее обо всем условились. Ну, давайте выбросим эту диссертацию к чертовой матери. Ну, давайте выбросим и навсегда забудем ее.

Он готов был немедленно сделать это.

– Превосходное исследование, – по инерции протянул Созоев. И вдруг поднял совиные толстые круглые веки, покрытые желтизной. И глаза его как-то тревожно блеснули. – Понимаете, Саша, вчера вечером я получил письмо…

Игнациус вздрогнул…

Стояли жесткие ветреные пустые дни. Окна зарастали ледяной коркой. Игнациус поднимался в шесть утра, выцарапанный из сна жестяными судорогами будильника. Шлепал босой на кухню и, не открывая воспаленных глаз, с

отвращением жевал что-то – липкое, упругое, резиновое. Потом возвращался в комнату и зажигал электричество. Резкий ламповый круг замыкал собою весь мир. Время останавливалось за черными стеклами. Записи, вырезки из реферативных журналов, протокол наблюдений, мельчайший академический шрифт, сведение в целое, торчат хвосты, рассыпающийся лабораторный дневник, контроль отсутствует, дикие иероглифы картотеки, контроль найден, сведение в целое, выпал абзац, клей и ножницы, брякающая машинка, две страницы, тезис Шафрана – не соответствует, картотека, журналы, назад – в предисловие, клей и ножницы, сведение в целое. Свет желтой пленкой залепливал ему ресницы. От напряженной многосуточной позы скручивались мышцы в спине. Он ложился за полночь, когда Валентина уже дышала в подушку. Еще минут пятнадцать не мог заснуть: бешено сталкивались выгнутые шелестящие строчки. Ему казалось, что он муравей, грызущий горный массив. Он натыкался на свое отражение между штор: бледное зеленоватое лицо с искусственными волосами. Лицо неудачника. Человек с таким лицом никогда не сделает ничего толкового. Не стоит и пытаться. Тем не менее, каждый вечер ставил будильник ровно на шесть утра. Отступать было некуда. В середине месяца неожиданно посветлело. Засияли строгие рамы. Проникающий серебряный блеск озарил всю комнату. Игнациус как будто очнулся. Была середина дня. Лампа горела тускло. Валентина квакала о чем-то над самым ухом. Он поднял голову и увидел, что из форточки вырывается и мгновенно тает над батареями – крупный веселый снег. Тогда он собрал все написанное в серую папку и накрепко завязал тесемки. Он сделал все, что мог, и прибавить сюда было нечего.

А теперь вдруг поникший Созоев тревожно глядел на него.

– Понимаете, Саша, вчера я получил письмо, – еле слышно сказал он. Развернул листок бумаги в клетку, вероятно, выдранный из школьной тетради. – Почерк очень плохой, я вам прочту, вот здесь… «Я не прошу извинений, все происшедшее со мной слишком бессмысленно, чтобы извиняться. Ведь не извиняются же за ураганы и землетрясения. Одно могу сказать твердо: обратно в институт я не вернусь. Это просто невозможно сейчас. Мой материал передайте Саше Игнациусу. Или кому угодно, если он откажется. Меня скоро не станет, но я ни о чем не жалею и ничего не хочу изменить. Жизнь заканчивается и я принимаю ее такой, какая она есть. Федор Грун».

Одинокий листочек затрепетал у него в руках.

– Адрес! – не своим голосом потребовал Игнациус, подпрыгивая вместе с креслом.

– Без адреса, – испуганно ответил Созоев. Аккуратно сложил этот жалкий листочек и убрал в карман. – Знаете, Саша, я подписал его заявление. Я тянул до последнего, но теперь просто не остается другого выхода…

У Игнациуса отлегло от сердца. Он разжал побелевшие пальцы, и искрошенное печенье ссыпалось обратно в вазу. На синеватых снежных рассветных ветвях за окном сидели нахохлившиеся воробьи. С чего это Генка взял, что старик спятил? Вовсе не спятил, ну – самую малость. Вполне нормальный доброжелательный старикан.

– Андрей Борисович, можно я вас поцелую? – ласково попросил он.

– Одну минуту, – ответил Созоев. Как-то неохотно вылез из-за стола и побрел через комнату, шаркая тапочками по грубому вытертому ковру. Задержался зачем-то в дверях. – Подождите меня одну минуту…

Махнул короткой рукой.

Тут же ввинтилась Марьяна, уже переодетая в мутно-складчатое платье неизвестной эпохи, и, косясь на проем лошадиным продолговатым глазом, точно бешеная змея, прошипела:

– У Андрея Борисовича температура. Тридцать восемь и две десятых. Он болен.

– Ухожу, – пообещал Игнациус.

Марьяна испарилась. Только воздух закрутился на месте, где она стояла секунду назад. А из этого вихря неторопливо выплыл Созоев и положил перед Игнациусом знакомую пухлую папку, перевязанную тесемками.

– Здесь ваши материалы, Александр. Я их не читал. И, по-видимому, читать не буду. Так что можете забрать их с собой. – Ему было трудно разговаривать, он словно одеревенел. Со стен пялились многочисленные фотографии: Созоев и Калманов, Созоев и Шредер, Созоев и Ламеннэ. – У меня нет к вам никаких претензий, Саша. Вопрос уже решен. Если шестого все пройдет нормально, то защита будет назначена в течение месяца. Я подпишу необходимые бумаги и выступлю, как положено. Но читать это я не желаю.

По-прежнему стоя, он передвинул папку Игнациусу, и Игнациус, также поднявшись, безжизненно принял ее:

– Хорошо.

– Но имейте в виду, что Бубаев, наверное, выступит против.

– Вы так думаете… – начал Игнациус.

– Бубаев будет против, – пустовато глядя поверх его головы, повторил Созоев. – И Рогощук будет против. Это тоже имейте в

виду.

– Но почему, почему? – спросил Игнациус очень глупо и растерянно.

Созоев пожал плечами.

– Не надо совершать поступки, запрет на которые накладываешь ты сам. Это – совесть… Александр, объясните мне честно: зачем вам степень?

На короткой шее его вдруг прорезались ниточки жил. А широкие плоские брови куда-то поехали.

Надо терпеть, подумал Игнациус, стискивая папку. Главное сейчас – не сорваться. Он ведь ждет, что я непременно сорвусь. Я не имею права сорваться сейчас.

– Затем, что мне двадцать семь лет, – медленно, сдавленным от ненависти голосом сказал он. – Затем, что защищаются все, кому не лень. Затем, что нужно быть круглым идиотом, чтобы не защититься. Затем, что я не хочу быть – как дурак, среди остальных. Затем, что жить на сто двадцать рублей невозможно. Затем, наконец, что вы сами прекрасно знаете все эти «зачем»…

Он запнулся, не находя убедительных слов. Но, по-видимому, большего от него и не требовалось. Потому что Созоев вдруг вежливо и непреклонно оборотился к дверям.

– Я все понял. Я понял вас. Достаточно, Саша.

И румяные сдобные пальцы его – указали…

Игнациус выкатился на улицу и в остервенении пнул сугроб, отвалив порядочную ледяную глыбу. Посмотрел на заиндевелые рамы второго этажа. Кирпичом, что ли, по ним шарахнуть? Только где тут достанешь кирпич? Уже рассвело. Малиновая краюха солнца плыла над антеннами и наливала пламенем подслеповатую кривизну чердаков. Дул сырой ветер. Ноздреватый снег стонал при ходьбе всеми своими суставами. Совесть, видите ли, у него. С чего бы это? Потолок на башку рухнул? Где он был раньше, когда обо всем договаривались? Совесть. Конечно, я использовал данные Груна, особенно при анализе: страницы девяносто вторая – сто четырнадцатая, но иначе бы я просто не успел. Попробуйте накатать диссертацию за месяц, начав с нуля, с гладкого ничего. И, между прочим, кто предложил их использовать? Между прочим, Андрей Борисович Созоев, собственной персоной: «Возьмите эти материалы, Саша, включите их как-нибудь в свою работу, а то пропадут». Декабрьский вечер, семинар у радиологов, случайный разговор в пустой гулкой аудитории. И пропали бы. Точно. Никто не станет оформлять для печати чужое исследование.

Игнациус замер в недоумении. Впереди была набережная незнакомой вьюжной реки: гранитные столбики в шапках по пояс,

оснеженная вязь перил между ними, дикий нетронутый хаос льда, а на другом, приземистом, берегу – глухие, убогие, занесенные по самый шифер, длинные дощатые бараки. Наверное, склады. Скукой и запустением веяло от них. Игнациус выругался. Ко всему, он еще свернул не в ту сторону. Теперь придется пилить обратно. Наверное, целый километр. Видимо, лучше – через переулок. Через переулок, наискосок и – к автобусной остановке. Он вдруг распахнул подозрительно легкий, болтающийся «дипломат». Так и есть, папку он забыл у Созоева. Надо же, как получается. Одно к одному. Ну и черт с ней! Чтоб она совсем провалилась!

Он прибавил шагу. Переулок изгибался дугой. Было жарко. Шлепались с низких крыш набрякшие комья снега. Совесть, видите ли, у него. С чего бы это? Игнациус тяжело дышал. Именно Созоев добился на ученом совете, чтобы сняли Груна и вписали Игнациуса. Что было весьма чревато. Именно Созоев непрерывно теребил и подталкивал его все это время. Именно Созоев буквально выжал из него готовый текст. А теперь, пожалуйста, – читать не буду. Наверняка что-то случилось: слишком внезапно, слишком сразу, слишком без явных причин. Еще вчера все было нормально. Он свернул за угол и увидел ту же – в горбатых шапках, оглохшую под сугробами, забытую, нетронутую набережную. Неужели опять напутал? Не должно быть никакой набережной. Над низким зевом подворотни, чудом не падая, висела отодранная табличка. «Сонная улица 12» было написано на ней. Вдруг ужасно стемнело – за две секунды. Громадными охапками повалил мокрый снег. Дальний конец переулка пропал в мутной пузырчатой пелене. Закружилась метель. Не в картах, так в любви, подумал Игнациус, закрываясь ладонью. Внутренне он уже был готов ко всему. Четырнадцатый номер приходился на совершенно сказочный причудливый особняк с выпяченными по бокам детскими витиеватыми башенками, стоящий за чугунной оградой в пустынном, сером, пронизываемом липкими хлопьями, редком саду. Скорее всего, там располагалось какое-нибудь учреждение. Вот и остаток вывески на сквозных воротах. Игнациус попытался разобрать треснувшее название, но не смог. Не хватало больше половины. Тогда он взялся за массивный изогнутый прут и толкнул калитку.

Глава 3

Через сад, вероятно, никто никогда не ходил. Рыхлый наст, шурша, проваливался под ногами. Снег жестоко лупил и творожистой гущей стекал по коже. Хор деревьев махал призрачными ветвями. Перед дверью, защищенной треугольным карнизом, стояли двое в промерзших кирасах, в шлемах, увенчанных острыми шишаками. Как по команде, скрестили беловатые от холода алебарды.

– Прочь! – сказал им Игнациус.

Грохнул кулаком по филенке так, что задребезжало с другой стороны. Щурясь во вьюжную мокроту, выглянул некто, маленький и лысый, как груша, в пестром облегающем трико арлекина:

– Вас ждут, сударь, – и попятился.

Уходили наверх парадные ступеньки из гладкого мрамора.

– Не сюда, – поспешно сказал Арлекин. Завернул Игнациуса в темные боковые коридорчики. – Как добрались, сударь? Вас кто-нибудь видел? Слежки не заметили? Будьте осторожны, Ойкумена кишит лазутчиками.

– Куда мы идем? – спросил Игнациус.

– Тс-с-с… – Арлекин погрузил щеки в кружевной воротник. – Милорд Экогаль распорядился проводить вас прямо в железную комнату. Ради бога, сударь, – ни звука! Даже страшно подумать, что будет, если Тайный Совет вдруг узнает о вашем присутствии…

Игнациус ничего не понимал, но находил все вполне естественным. Как во сне. Они миновали сумрачные площадки, затянутые паутиной, спустились по невидимым лестницам, которые угрожающе визжали на разные голоса, пригибаясь, пролезли сквозь пыльную портьеру с кистями и оказались в душном безвыходном закутке, где вдвоем было не повернуться. Арлекин постучал особенным образом.

– Прибыл гость, милорд!

Желтый свет на мгновение ослепил Игнациуса. В дверях, держась за эфес длинной шпаги, стоял высокий, плотный, бритоголовый, наверное, очень сильный мужчина в черном плаще. На широком и властном лице его двигались хищные, как у кота, усищи.

– Клянусь Звездным Кругом и Тремя Радиантами его, вы не торопитесь, сударь! – прорычал он. – Как будто у нас в запасе целая Вечность!

Распространяя восковую сушь, горели по стенам толстые

свечи. Аня, прижавшись к мелкому узорчатому железу, которым до потолка была обита клетушка, радуясь и не веря, обеими руками коснулась сияющих глаз.

– Ах! Ты нашел меня, я предупреждала – не надо…

– Мадонна, – сурово сказал бритоголовый. – Полночь уже близка. Я проскакал двести верст и загнал четырех лошадей вовсе не ради ваших возвышенных чувств. Мне нужен Человек – из плоти и крови.

– Вы его погубите, – умоляюще сказала Аня. – Вы уже погубили Персифаля. У вас нет сердца!

Бритоголовый нагнулся к ней, уперев локти в медный стол. Подскочившая шпага его задрала плащ, расшитый золотыми скорпионами.

– Вы хотите жить среди людей? Вы хотите повернуть зубцы Круга, чтобы стать, наконец, свободной? Или вы намерены ждать, пока Фукель отравит Звездочета, как он отравил когда-то вашего отца, и затем повернет Круг в обратную сторону?.. Моя голова полетит первой, не сомневаюсь, но ваша – следом, мадонна.

– Ах, нет! – воскликнула Аня.

Бритоголовый обернулся к Игнациусу.

– Любите ли вы ее, сударь?

– Да, – без колебаний сказал Игнациус.

– И готовы на великие жертвы?

– Да, – сказал Игнациус.

Черты бритоголового немного смягчились.

– Вы отвечаете, как подобает Человеку, мадонна не ошиблась. – Торжественно поднял руку в красной замшевой перчатке с раструбом. – Даю слово Экогалей: если вы повернете Круг, то я обвенчаю вас, чего бы мне это ни стоило. – Он откупорил серебряный флакончик, сильно запахший цветами, и налил в бокалы тягучую маслянистую жидкость зеленого цвета, в которой мерцали искры. – Выпьем! Выпьем Эликсир Ночи! Единственный напиток вечно странствующих!

Игнациус осушил свой бокал одним глотком и крепкий звездный вкус обжег ему небо.

– А теперь поцелуйтесь, – сказал бритоголовый.

Аня прильнула к Игнациусу. Он ощутил сладкие от эликсира мягкие горячие губы. – Мы теперь будем вместе, – шепнула она. В ту же секунду дверь разлетелась в щепки, и выплеск обнаженных шпаг пронзил воздух. Комнату заполнили приземистые бочонкообразные жуки, будто панцирем, облитые хитиновыми крыльями. Самый важный из них, с алмазной перевязью поверх желтых члеников брюшка, прошипел, смыкая на подбородке множество крючковатых жвал:

– Из-ме-на!

У милорда Экогаля поплыли на лоб квадратные брови.

– Гусмар, названный брат мой, – ласково сказал он Арлекину, жмущемуся у стены. – Мы росли в одном доме и одна женщина воспитала нас.

Арлекин, торжествуя, сверкнул угольями из мохнатых ресниц.

– Эта женщина, милорд, давала вам сахарный хлеб, а мне – только пощечины. Вы жили в замке, окруженный слугами, готовыми исполнить любой ваш каприз, а я каждый день возвращался к себе в конуру, где скреблись крысы и кашляла больная мать. Вы били меня во время игр, а я не смел ответить вам тем же. – Он перевел дух и заключил с едкой иронией: – Мы и теперь не равны, милорд: вы умрете, а я получу дворянство и орден Тьмы из собственных рук Его Святейшества.

– Что ж, – хладнокровно сказал бритоголовый. – Значит, не осталось в мире чести и благородства. Что ж. Прощайте, мадонна, храни вас бог, мы не увидимся более… – Он поддернул перчатки и ободряюще кивнул Игнациусу. – А вы, сударь, постарайтесь умереть достойно.

Цепкие лапы схватили их. Игнациус попытался освободиться, но его будто спеленали. Как две птицы, мелькнули широкие рукава Аниного платья.

– Встретимся на Млечном пути, где цветут папоротники небытия!.. – звучно крикнул милорд Экогаль, круша кулаками неповоротливые пластинчатые черепа.

Вырваться из жестких объятий было нельзя. Игнациуса притащили в громадный каменный зал, грубые своды которого терялись в темноте. Ржавый свет факелов плясал по скалистым ребрам, и цепь шестируких стражников, озаренная им, мрачно выставляла короткие пики. За бескрайним низким столом, скрестив лапки перед чернильницами на зеленом сукне, окруженные почтительными секретарями, сидели три жука, сплошь увешанные регалиями. Средний, у которого ветвились жестяные рога на затылке, сразу же приподнялся.

– Вы обманули нас! – скрипучим, как железо, канцелярским голосом произнес он. – Вы тайком проникли в Ойкумену, чтобы разрушить механизм часов. Жалкая попытка! Неужели вы хоть на секунду могли помыслить, что мы оставим без внимания дочь Мариколя? Вы сочли нас глупыми и коварными. Но мы не глупы и не коварны. Мы милосердны к друзьям нашим, мы щедро платим тем, кто верой и правдой неутомимо служит великой цели, но врагов и предателей мы караем беспощадно: память о них исчезает в темных водах Овена.

Жук качнул своими рогами – приказывая.

Семеня короткими ножками, изогнув верхнюю часть тела, выползла из темноты одутловатая щетинистая гусеница высотой в человеческий рост и развернула перед белыми, будто незрячими, глазами свиток пергамента, украшенного сургучной печатью на плетеном багровом шнурке. Игнациус с удивлением узнал в ней Градусника – срезанная челюсть и редкие, липнущие от одеколона волосы.

– Неусыпным наблюдением попечителей за дочерью Мариколя установлено, – загнусавила гусеница, упершись носом в пергамент, – что во время пребывания в человеческом мире, каковые пребывания были ей милостиво разрешены членами Тайного Верховного Совета, дочь Мариколя допускала нежелательные и вредные знакомства среди людей, каковые знакомства превосходили степень обязательности, милостиво разрешенной ей членами Тайного Верховного Совета, каковая дочь Мариколя скрытно сблизилась и многажды беседовала на неизвестные темы с неким Игнациусом, пребывающим здесь, каковой Игнациус по представлению Геральдической комиссии происходит из проклятого рода Знающих, каковой род был милостиво запрещен к проживанию в Ойкумене членами Тайного Верховного Совета и осужден на вечное изгнание, каковое знакомство перешло в преступное расположение и дружбу, нарушив тем самым закон о неприближении к дочери Мариколя, каковой Игнациус вероломно обманул попечителей Тайного Верховного Совета и вступил в злодейский заговор с вероотступником и отщепенцем милордом Экогалем, каковой милорд Экогаль неоднократно возмущал граждан наших прискорбными речами о двойственности мира и разделенности его на радости и печали, каковая печаль в природе не существует, а каковая радость милостью членов Тайного Верховного Совета и во веки веков пребывает только в Ойкумене, каковой Игнациус по приглашению милорда Экогаля прибыл в Ойкумену с целью смещения Звездного Круга и Трех Радиантов его, каковые незыблемы, в чем и обличен полностью, неоспоримо и клятвенно подтверждено благонамеренными гражданами в количестве трех, каковые пребывают в неизбывной радости…

– Ваше Святейшество, они обручены, – внятно сказал Арлекин, делая шаг вперед.

Рогатый жук плюхнулся в кресло и задвигал всеми шипастыми ножками: Вва… вва… вва… – в полной беспомощности. Чешуя из наград на его груди забренчала. Другой судья, похожий на носорога, бугорчатый и неуклюжий, резко подался к Арлекину, словно желая пронзить его костяным

бивнем, и прохрипел, надувая у рта ядовитые пузыри:

– Кто посмел?!

– Милорд Экогаль, – отчетливо сказал Арлекин и, сделав шаг назад, пропал во мраке.

Трое судей уставились на Игнациуса бархатными непроницаемыми глазами. Я не боюсь, чувствуя противный озноб, подумал он. И повторил очень громко:

– Я не боюсь!

Тотчас же из-за спины его, изящно перебрав сухими ногами, совершенно бесшумно вынырнул громадный подтянутый крапчатый богомол и неуловимым для глаз движением скрестил над головой метровые заточенные пилы. Беловатая жидкость с шипением сочилась по ним.

Это был Стас.

Игнациус отшатнулся.

Тогда третий жук, с хитиновыми ушами, как у слона, махнул лапкой, и гусеница опять торопливо загнусавила:

– Каковой Игнациус приговаривается ко всеобщему и окончательному пожранию, каковое пожрание осуществится в полночь сего дня, при ясной луне, каковая полночь будет объявлена праздником во время боя часов… Каковой милорд Экогаль приговаривается ко всеобщему и окончательному пожранию, каковое пожрание осуществится в полночь сего дня, при ясной луне, каковая полночь будет объявлена праздником во время боя часов… Каковая дочь Мариколя милостивым решением членов Тайного Верховного Совета приговаривается к заключению на срок до боя часов, а затем – к замужеству, каковое замужество определит милостивая воля членов Тайного Верховного Совета…

Игнациуса тащили в гробовой темноте, которая остро пахла плесенью и гниющим деревом, душный запах этот перемешивался с кислой вонью, исходящей от стражников. Света не было совсем. Сыпалась сухая земля за шиворот. Железными клыками лязгнула дверь. – Не туда, – сказал кто-то могучим прокуренным басом. – Туда, туда, сегодня у них брачная ночь, – пискляво объяснил другой. Надрываясь, заржали, зачмокали. Смертельно взвизгнул засов. Игнациус обо что-то споткнулся. – Кто здесь? – быстро спросил он. – Я, – жалобно ответила Аня. Осторожно притянула его к себе и обняла, спрятав лицо на груди. – Мы погибли, милорд Экогаль схвачен, в полночь тебя казнят. – Не плачь, мы выберемся, – сказал Игнациус. Она вдохнула горячие легкие слезы. – Завтра я стану женой Фукеля. Бедная Ойкумена! – Неужели ничего нельзя сделать? – целуя ее в висок, шепнул Игнациус. Аня покачала головой. – Они завладели печатью Гнома,

это власть над всеми полнощными душами. – Глаза уже стали привыкать. Из окошка в толстой стене пробивался фиолетовый тусклый луч. Камера была совсем крошечная. Вероятно – мешок. Игнациус ощупал цементную кладку без единой щели, подергал чугунные мощные прутья. Не выломать. Жизнь кончалась – в дурацкой подземной тюрьме. Где-то далеко ударило тяжелым медным звоном. – У нас есть еще целых шесть часов, – прислушиваясь, сказала Аня. Игнациус опустился перед ней на корточки. – Зачем мы вместе? – Нужен ребенок, – тихо сказала Аня. – Ребенок? – спросил Игнациус. – Я – дочь великого короля, потом Фукель убьет меня и станет регентом. – Скотина, – сказал Игнациус. Аня засмеялась счастливо. – Подумаешь! Иди ко мне. Иди ко мне и – будь, что будет! – У нее редко и сильно стучало сердце. На губах сохранился тревожащий вкус эликсира. Непрерывно шуршало. Наверное, бегали крысы в коридоре. Быстро и глухо звякнул какой-то металлический предмет у дверей. Игнациус подхватил его – связка ключей! – Старый добрый Персифаль! – радостно сказала Аня. С неожиданной силой надела ему что-то на мизинец. – Если спасешься – вот кольцо Мариколя… Звездочет в Главной Башне… Покажешь ему… Надо повернуть Звездный Круг… Поклянись мне! – Клянусь! – сказал Игнациус. Осторожно приложил ухо к дверям. Все было спокойно. Он вставил нужный ключ и дверь отошла.

– Помоги нам Овен, – отчаянно прошептала Аня.

Стены действительно были земляные, а с потолка свисали холодные голые корни. Как мышиные хвосты. Значит, тюрьма находилась под садом. Горели какие-то шевелящиеся пятна над головой. Игнациус мазнул пальцем, это были светляки. Открыли еще одну дверь. В грязной, обшитой трухлявыми досками караульной перед кувшином с отбитыми ручками, пригорюнясь на маленький кулачок, из которого торчал рыбий скелет, сидел тюремщик, – слюни текли по оливковой бляхе у подбородка. – А тово-етово, етово-тово… – нетвердо удивился он, пытаясь подняться. Ноги у него разъезжались. Видимо, здорово наклюкался. Игнациус без промедления ударил его в челюсть, и жук опрокинулся на спину, вяло заскреб воздух всеми шестью конечностями. Но – пронзительно заверещал. И мгновенно откликнулись – близкие писки и возгласы. Игнациус, нагнувшись, вытащил шпагу из ножен.

– Скорее! – стонала Аня.

Они проскочили запутанный коридорный лабиринт и ворвались в небольшой зал, целиком ограненный узкими зеркалами.

– Отсюда – потайной ход!

Она вдавила завиток оправы – призматический край отъехал, обнажив люк в густой волосатой ржавчине. Его не отпирали, наверное, лет двести. Игнациус не попадал прыгающими ключами. Заливалась тревога и слышались возбужденные голоса. Наконец, прикипевшая крышка с трудом поддалась. Овальная дыра пахнула могильной почвенной сыростью. – Теньк! – одновременно повернулись боковые зеркала. Изо всех щелей, как клопы, бестолково полезли стражники. Двое ловко и бережно подхватили Аню, а другие кинулись на Игнациуса. Он неумело махал шпагой. Вдруг она уперлась во что-то жесткое и с трудом вошла. Один из жуков рухнул, дергаясь половинкой тела, остальные – отпрянули.

– Беги! Тебя ждет Звездочет! – крикнула Аня, выгибаясь в хрустящих лапах.

Стражники надвигались. Игнациус, угрожая клинком, протиснулся в мокрую черноту земли и со звоном ударил крышкой. В нее сразу же заколотили. Побежал – невозможно сутулясь. Потолок был шершавый и низкий. Мешала шпага. Впереди вдруг забрезжили неясные контуры дня. Шевеление, выступы, очертания. Он нажал из последних сил. Это был выход. Ступеньки, ведущие к свету, охраняли два хлипких жука с папиросами. Оба ахнули и в ужасе присели, побросав алебарды. Игнациус сшиб их с размаху калеными лбами. Сзади вырастал панический топот. Люк, по-видимому, уже сломали. Он взбежал по ступенькам и вывалился наружу. Был двор, стиснутый домами без окон, окруженный глухой кирпичной стеной, верх которой лизали желтые сугробы до плеч. Под одинокой вздрагивающей лампочкой свистел снег. Узкая тропинка вела к полуоткрытым воротам. Дворник в тулупе, разгребающий створки, поспешно загородился лопатой.

– Привет, Эритрин! Как отсюда выбраться? – задыхаясь, спросил Игнациус.

У того робко выползла макушка из глубины поднятого воротника.

– Ага! Откуда ты взялся? Я же тебе говорил: не лезь! – натолкнулся взглядом на шпагу и мелко попятился.

Ожесточенный писк выстреливал из распахнутого подвала.

– Связался с этой бабой! – испуганно сказал Эритрин. – На кой она тебе сдалась, она же ненормальная, хочешь, я тебя познакомлю: в сто раз лучше и совсем недорого… Постой, постой, подожди секундочку!..

Игнациус оттолкнул его и выбежал из ворот.

На вечерней улице искрились пушистые тротуары. Спешили прохожие, занятые своими послерабочими делами. Прокатился

безлюдный заиндевелый трамвай, а вслед за ним – два пыхтящих грузовика. Почему-то все выглядело как обычно. Он обернулся. Эритрин под роящимся конусом лампочки, держа лопату наперевес, объяснял что-то двум приземистым темным фигурам. Объяснение было трудное. Игнациус быстро пошел и свернул за угол. Черно и жирно блестели парящие полыньи на Фонтанке. Это была именно Фонтанка. Он узнал. Площадь Репина. Выпуклый сквер посредине. Мост с четырьмя цепными башенками. Ему было жарко. Он расстегнул пальто. Насквозь пронзил снежный колючий ветер. Шапку и портфель он, разумеется, потерял. Встречные шарахались от него. Он заметил, что до сих пор сжимает в руке серебристую шпагу. Тогда он бросил ее на мерзлые рельсы и она зазвенела.

Глава 4

Елка сверкала веселой мишурой, и густой запах хвои наполнял комнаты. Пестрели гирлянды. – Хочу колбасу, – немедленно заявил Пончик и, получив ее, слопал вместе с кожурой. – Хочу вон той рыбы, – и тоже мгновенно слопал. – Хочу пирожное… – Игнациус примерился, чтобы дать ему по отвислым пухлым губам, но пирожное возникло будто ниоткуда, и Пончик смолол его в ноль секунд, а потом, уже благосклоннее, высказался в том духе, что пора бы перейти к лимонаду. Мама Пузырева умилялась: – Весь в дедулю. – Папа Пузырев, одобряя, кивал министерскими седыми морщинами. Разумеется. Пончик был весь в дедулю. По уму, по характеру. Не в отца же, в конце концов. Игнациусу вообще казалось, что он здесь вроде мебели: передвинули в одну сторону, потом в другую, а затем очень мягко, но решительно усадили под еловые лапы, чтобы не торчал на проходе. – Изобрази счастливое лицо, сегодня праздник, – шепнула Валентина в самую сердцевину мозга. Будто иглу воткнула. Игнациус даже дернулся. Они не разговаривали уже неделю. Перегнувшись, он заглянул в трюмо: бледное сырое непропеченное тесто, две угрюмых изюмины вместо глаз и оттопыренные пельмени ушей. Зрелище малопривлекательное. Он изобразил на лице радость. – Перестань гримасничать! – сразу же шепнула сеньора Валентина. Он – перестал. Было скучно. Из телевизора лилось нечто задушевное. Мигали разноцветные огни и склонялись к рампе немолодые грудастые девушки в сарафанах. Игнациус незаметно убавил звук, но мама Пузырева, потянувшись за хлебом, как бы невзначай прибавила его снова. Тогда он начал жрать маринованные помидоры. Он накалывал вилкой дряблые пустые морщинистые тела и целиком запихивал их в рот. После чего жевал – с тупым усердием. Пламенеющий сок стекал по подбородку. Из-под вилки вырывались неожиданные фонтанчики. Он был здесь совершенно чужой и поэтому словно отсутствовал. Горы желтого салата закрывали его. – Саша скоро защищается, – напряженно сказала сеньора Валентина. Знакомые красные пятна появились у нее на лице. – Я вас поздравляю, – ответила мама Пузырева, улыбнувшись прозрачному заливному. – Это было очень непросто, но Саша добился. – А когда именно? – поинтересовался папа Пузырев, доставая запотевшую бутылку шампанского. – Шестого, в понедельник, – сказала Валентина. И голос у нее зазвенел. – Так быстро, какой молодец, – похвалила мама Пузырева, глядя в рокочущий телевизор. – Шестого лишь репетиция, – сумрачно пояснил Игнациус, – если все пройдет

нормально, тогда… – Мама, я хочу курицу, – объявил Пончик, намазывая крем на селедку. – Съешь сначала рыбу, а потом получишь. – А я хочу сейчас. – Не капризничай, – сказала сеньора Валентина. – Я не капризничаю, я хочу курицу. – Возьми, возьми, вот этот кусочек, – сказала мама Пузырева, переправляя в тарелку Пончика четыре раздутых ноги. – Мама, слишком много, – недовольно сказала Валентина. – У ребенка прекрасный аппетит, пусть кушает, сколько хочет… – Папа Пузырев забыл про шампанское. – В шестьдесят восьмом году, когда я работал в институте, у нас защищалась некая Капелюхина, – хорошо поставленным басом сказал он. Все незамедлительно отложили вилки. Даже Пончик. Который, по-видимому, осовел. Папа Пузырев любил рассказывать поучительные истории. Он их знал великое множество. Игнациус с тоской посмотрел на часы. Время уже приближалось к двенадцати. Жизнь мучительно уходила по капле, минута за минутой сочась с циферблата.

К счастью, спасительно задребезжало в прихожей, и он, сломя голову, ринулся к телефону, боясь, что опередят.

– Да!

– Это – я, не бросай трубку, – предупредил Эритрин. – Мне обязательно нужно с тобой поговорить.

Игнациус выругался вполголоса и ногой прикрыл дверь, чтобы его не слушали.

– Оставь меня в покое, – раздраженно сказал он. – Я же тебе объяснял – пятьдесят шесть раз…

– Нашлись твои вещи, – жалобно сказал Эритрин. – Шапка, «дипломат», можешь забрать их.

– Выброси на помойку, – посоветовал ему Игнациус.

– Я не могу…

– Ну тогда продай – с небольшой наценкой.

– Ты ничего не понимаешь, – сказал Эритрин. В голосе его прорвались безумные панические нотки. – Это же – кошмарные люди, оборотни…

– Надоело, – сказал Игнациус.

– Они способны на все…

– Посмотрим.

– Верни кольцо, – умоляюще попросил Эритрин. – Они готовы заплатить. Сколько ты хочешь?

– У меня его нет.

– Любую разумную сумму. Я с ними договорюсь…

– У меня его нет.

– Не обманывай, не обманывай, – жарко и беспомощно сказал Эритрин. – Она отдала кольцо тебе, есть свидетели. Ты даже не представляешь, чем мы рискуем…

– Хорошо, – сказал Игнациус. Испуг, колотящийся в телефонных проводах, как удавка, отчетливо стискивал горло. – Хорошо. Пусть она придет за ним сама. Она выходит из Ойкумены, я знаю.

Эритрин сорвался на крик.

– Ты с ума сошел!.. Забудь!.. Ничего этого не было!..

Почему-то казалось, что он стоит у телефона босой – полуголый, растерянный, очень потный.

– Хорошо, – опять повторил Игнациус. – Тогда не звони мне больше. И передай этим – кто тебя послал – чтобы они катились к чертовой матери. Понял? – Не дождавшись ответа, нетерпеливо подул в трубку. – Рома? Алло! Эритрин! Куда ты исчез?

На другом конце линии невнятно завозились, что-то рухнуло, бурно посыпалось на пол, и вибрирующий, полный страха, растерянный голос Эритрина произнес: «Не надо, не надо, я ни в чем не виноват… – „-а затем, чуть попозже, захлебываясь тоской: «Что вы делаете?.. Оставьте!.. Пустите!..“

Разорвался, как будто его отрезало.

– Рома, Рома, – механически повторял Игнациус, чувствуя, как ужасно немеет сердце. – Что случилось, Рома? Почему ты не отвечаешь?

Мембрана тупо потрескивала. Из гнутой пластмассы, из круглой, внезапно онемевшей слуховой дыры будто потянуло ледяной струей. Игнациус бережно, как гранату, положил трубку на рычаги и на цыпочках, тихо пятясь, отступил в привычную кухню. Ерунда, ерунда, подумал он, успокаивая сам себя. Выдвинул ящик серванта. Папа Пузырев уже давно не курил, но держал для гостей хорошие сигареты. Пальцы не могли сорвать целлофан. А потом – протиснуться в набитую пачку. За окном до самого горизонта, светлея однообразной бугристой равниной, простиралась новогодняя ночь: твердый звездяной отблеск и чахлые ивовые кусты, ободранные вьюгой. Мрак. Унылая пустошь. Отчаяние. Когда они с Валентиной поженились, то родители ее отдали им свою квартиру и построили себе кооператив на Черной речке. Следовало помнить об этом. Он чиркнул спичкой, и кончик сигареты уютно заалел. Тут же, придерживая на груди стопку тарелок, в кухню, как утка, вплыла мама Пузырева и потянула воздух расплющенным пористым носом. Игнациус поспешно открыл форточку. – Дует – сказала мама Пузырева в пространство. Тогда он закрыл форточку. – Извините, Саша, я давно хотела сказать вам… – Не стоит, – морщась, ответил Игнациус. Мама Пузырева сгрузила тарелки в раковину. – Вы плохой отец, – сказала она. – Наверное, – согласился Игнациус. – Вы погубите ребенка. – Такова моя скрытая цель, – согласился

Игнациус. – Мальчик буквально пропадает. – От обжорства, – согласился Игнациус. – Ростислав Сергеевич обещал вам помочь, но вы же не хотите. А в четыреста пятнадцатой школе – преподавание на английском и чудесный музыкальный факультатив, виолончель. – Она явно сдерживалась. Проглотила какой-то колючий комок. На плите в кипящей промасленной латке булькало что-то вкусное. – Я терпеть не могу виолончель, – объяснил Игнациус. – Когда я слышу виолончель, я с ног до головы покрываюсь синенькими пупырышками.

Он бросил ватную сигарету. Ему надоело. Этой осенью Пончик пошел в первый класс, и с тех пор дискуссия о школах не прекращалась. Толку от нее, правда, не было никакого. Одна маята. – Сергей будет учиться рядом с домом, – подводя итог, нетерпеливо сказал он. – Но почему, почему?! – Потому что ближе. – Я могу ездить с ним, – предложила мама Пузырева, вытираясь полотенцем. – Спасибо, – вежливо сказал Игнациус. – И Ростислав Сергеевич может с ним ездить. – Спасибо, – сказал Игнациус. – В конце концов, главное – это Сержик. – Разрешите пройти, Галина Георгиевна, – страдая, попросил Игнациус. Мама Пузырева вдруг шатнула к нему несчастное распаренное лицо, на котором кривились дрожащие губы. – За что, за что вы меня оскорбляете?! – Игнациус даже испугался, что она его ударит. Но она не ударила, по-гусиному вытянула шею в розовы лишайных пятнах. – Вы жестокий, вы самодовольный эгоист, вы презираете нас, мы же видим, вы даже разговаривать не хотите, зачем вы женились на Вале? Вы мучаете ее, потому что она умнее вас, я не позволю! – да, умнее и лучше, вы не можете простить ей свою ограниченность!.. – Галина Георгиевна!.. – выдавил ошеломленный Игнациус. – Вы – злой, вы – злой, вы – лицемерный человек, – мама Пузырева упала на стул и закрылась скомканным полотенцем. – Простите, Саша, а сейчас – уйдите, пожалуйста, я прошу вас, я не могу вас видеть… – голые плечи ее вздрагивали, она теребила слезы в мягком носу. Игнациус боялся, что кто-нибудь некстати вопрется. Сделать ничего было нельзя. Никогда ничего нельзя сделать.

Он скользнул в ванную и заперся на задвижку. Включил оба крана – как можно сильнее. Завыли водопроводные трубы. Неделя протекла спокойно. Игнациус развез рукописи оппонентам и подготовил автореферат. Договорился насчет обязательных для защиты рецензий. Обстановка на факультете благоприятствовала. Созоев при встречах здоровался вежливо и непринужденно. О Груне никто не вспоминал. Прошло заседание кафедры. Бубаев – хвалил вопреки всем прогнозам. Рогощук – отмалчивался, в слепоте змеиных очков. Город готовился к празднику, и из

магазинов торчали кипучие нервные очереди. Валентина впервые провела испанцев. Ей подарили балалайку, купленную в «Сувенирах». Правда, она утверждала, что это – севильская мандолина. Игнациусу было все равно. Утихали метели. С утра до вечера падал крупный мохнатый снег и взлетала поземка на перекрестках. Прохожие слонялись, выбеленные, как призраки. Машины упирались голубыми фарами в роящиеся облака. Громадная, увешанная пластмассовыми игрушками ель высилась перед Гостиным двором, и переливчатые огни стекали по ее ветвистым лапам.

Ничего необычного больше не произошло. Хрипела в шарфах и кашлях декабрьская простуда. Дважды звонил Эритрин и орал, как помешанный – перемежая мольбы с идиотскими тупыми угрозами. Речь все время сводилась к кольцу Мариколя. Игнациус нажимал на рычаг и прикладывал трубку к пылающему лбу. Сонная улица, четырнадцать. Он не знал, было это с ним или не было, но он не хотел забывать. Ойкумена существовала рядом, как изнанка древнего мира. Как рогатая тень, как загадочная и древняя сущность его. Там скрипели деревянные лестницы, и били куранты на ветряной башне, там, шурша коготками, бродили по тесным переходам уродливые панцирные жуки, там, меряя шагами клетку, ожидал казни яростный Экогаль, и Аня томилась в подземной тюрьме, где царил тлен корней и попискивающий крысиный сумрак. Огненный Млечный путь был распахнут над Кругом во всем своем ярком великолепии и блистающий холод его лежал на цепях и зубчатых колесах. Полночь еще не наступила. Из внутреннего кармана он достал кольцо Мариколя и протер его. Гладкий спокойный нездешний металл. Сначала он думал, что это – серебро, но один знакомый сказал – платина. На кольце была печатка в виде скорпиона, голову и тело которого составлял кровавый бриллиант. Оно едва налезало на мизинец. Игнациус поднес его к лампе, и скорпион зашевелил нитяными лапками.

Будто живой.

В дверь требовательно постучали.

– Что у вас произошло с мамой?

Валентина смотрела в упор, прожигая немигающим коричневым взглядом.

– Ничего, – ответил Игнациус. – Все то же.

– Пойди и извинись перед ней.

– Не за что.

У нее надулись страшные желваки на скулах.

– Иди немедленно!

Игнациус легко отстранил ее. Женятся не потому что любят.

Женятся, потому что пришло время жениться. Бывают такие дни, когда от весеннего солнца, от растрескавшихся горьких почек, от свежего запаха воды над гранитной набережной сладко кружится голова и особенно горячо звенит кровь в натянутых жилах. Сияет хрупкое небо, подпертое шпилями. Слепят блики из чистых окон. Жизнь вращается, как пестрая карусель. Начинается эйфория. Совершаешь необъяснимые поступки. Пленка нереальности обволакивает сознание. Потом она распадается и в остром недоумении замечаешь неровную вялую кожу, извилистый нос и три черных волосатых родинки под ухом на влажной щеке.

Он прошел в комнату.

В комнате перед вопящим скрежещущим телевизором сидел Пончик – как сытый клопик: барабанный живот и раздвинутые кривые ножки. Глаза у него слипались. Папа Пузырев, уже свекольного цвета и поэтому любящий все человечество сразу, увидев его, очень обрадовался.

– Так вот, Капелюхина, – занюхивая корку хлеба, сказал он.

Игнациус обреченно сел. Эта Капелюхина исследовала прочность куриных яиц. Сложность здесь заключалась в том, что скорлупа должна была быть достаточно твердой, чтобы не биться при перевозках, а с другой стороны – достаточно тонкой, чтобы обычный цыпленок мог сразу проклюнуться. Она заказывала яйца в совхозе и кокала их молотком – с разной силой и под разными углами. Сначала сама, а потом ей выделили лаборанта. Вместе они перебили около миллиона штук. Лаборант не выдержал и ушел в аспирантуру. А Капелюхина стала писать диссертацию. Она писала ее двенадцать лет и все двенадцать лет ела яйца три раза в день – на завтрак, на обед и на ужин. И муж ее питался исключительно яйцами. И все родственники – тоже. А дети настолько привыкли к яйцам, что не могли употреблять в пищу ничего иного. Тем не менее, они выросли уважаемыми людьми.

Папа Пузырев назидательно выпрямил палец и опустил локоть в тарелку с салатом. В институте он заведовал АХЧ. Как и полагается отставному ответственному работнику. Теперь должна была последовать густая мораль. Дескать, и от науки бывает польза. Но мама Пузырева, слегка приседая, внесла дымящееся блюдо, на котором вываренный сахарный рис был обложен погребальной зеленью, и грохнула его на середину стола. – Ты – выпил, – сказала она, окаменев желтым подглазьем. – Нисколько, – папа Пузырев с достоинством вынул пиджачный локоть из хлюпнувшего салата. – А я говорю: ты выпил! – Совсем чуть-чуть. – А я тебе запрещаю! – Ну и что тут такого? – А то, что я тебе запрещаю! – Они ненавидели друг друга давно и спокойно. Игнациус, который никак не мог привыкнуть к таким

отношениям, глухо пробормотав: «На минуточку», – начал выдираться из-за стола. Деться ему было некуда. На кухне гремела кастрюлями сеньора Валентина. Он потоптался в прихожей и набрал номер Анпилогова. Гудки на той стороне долго падали в безвоздушное слепое пространство.

Наконец, трубку сняли.

– Ну, ты даешь, я уже спал, – недовольно буркнул Геннадий.

– Так ведь – Новый год, – сказал Игнациус.

– Подумаешь.

– Я хотел поздравить тебя.

– Это необязательно.

– А во сколько ты лег? – поинтересовался Игнациус.

– Как всегда, в одиннадцать. Будто не знаешь, – уже по-настоящему рассердился Анпилогов.

Игнациус ему позавидовал. Хорошо вот так, изо дня в день, ни на миллиметр не отклоняясь, идти к определенной цели. Он знал, что и завтра Геннадий встанет точнехонько в семь утра и поедет в пустом автобусе на работу, смотреть препараты. У него был пропуск на все праздники.

Он дал отбой, и телефон зазвонил тут же – тревожно, нетерпеливо, как междугородняя, словно дожидаясь этого мгновения.

Игнациус крикнул:

– Прачечная номер шесть слушает!

– Александр Иванович? – не удивляясь, осведомились в трубке.

– Он самый.

– Добрый вечер, Александр Иванович. Я говорю с вами по поручению Фукеля.

– Не знаю такого, – мгновенно похолодев, ответил Игнациус.

– Александр Иванович, – сказали в трубке, твердо, по-иностранному, выговаривая слова. – Александр Иванович, не надо валять дурака. Вы должны вернуть это кольцо. Безусловно. Оно вам ни к чему. Кстати, я уполномочен предложить за него вполне приличную компенсацию.

– Нет, – сказал Игнациус.

– Александр Иванович, не упорствуйте, – терпеливо посоветовали в трубке. – Не упорствуйте, не вынуждайте нас применять крайние меры. Это будет чрезвычайно неприятно для обеих сторон.

– Идите к черту, – сквозь зубы сказал Игнациус.

– Вам, конечно, нужны доказательства? Естественно. Расспросите своего друга, когда он очнется…

– Что?

В трубке деловито сообщили:

– Ваш друг, Роман Вескин, лежит сейчас около дома сто пятьдесят четыре по улице Полярников. Это в Купчино, слышали? Где кафе «Уют». Как видите, мы настроены очень решительно. Советую вам вызвать «скорую помощь», а потом побеседовать с ним, если разрешат врачи.

– Вы с ума сошли, – прошептал Игнациус.

Он вдруг поверил.

– Поторопитесь, Александр Иванович, а то он не сможет разговаривать вообще. Ну, – я еще позвоню.

И раздались короткие сомкнутые гудки.

Игнациус замер – с трубкой. Будто пружинистая мохнатая шестипалая лапа легла ему на затылок. Звонко цокнули зубы. В проеме дверей появилась Валентина – белые овечьи скулы под завитыми кудряшками.

– Мы тебя ждем!

– Зачем? – не понял Игнациус.

Валентина отчетливо покрутила пальцем у виска. Исчезла. Он, как сквозь вату, услышал скомканные далекие голоса, перешарк многих стульев, быстрый хлопок шампанского, и вслед за этим – протяжный гулкий торжественный бой курантов.

Наступил Новый год.

Глава 5

Аудитория была битком набита. До самого потолка поднимались ряды очумелых расплывчатых лиц. Игнациус даже остановился. Откуда столько народа? Не должно быть столько народа. Очень плохо, что столько народа. Он поклонился, как паяц на шарнирах, и гомон утих, сменившись вдруг зловещей натянутой тишиной. Воткнулись любопытные взгляды. Его бросило в жар. Настенные часы в блестящей металлической шине показывали половину четвертого.

– Ты рехнулся, – отчетливо и зло прошептал Анпилогов справа.

Был весь крысятник: Бубаев-старший, взбивающий пальцами раздвоенную холеную бороду, и Бубаев-младший – согнутый, как интеграл, и крыса-Хипетин в халате, катающий между губ не зажженную тонкую сигарету, и крыса-Молочков, расчесывающий корни белобрысых волос.

Элеонора, придерживая ладонями крылатый шиньон, будто фурия вбежала в аудиторию:

– Ах, Саша, вы – здесь! А я ищу вас по всему институту!..

И гадючник тоже собрался полностью: крепкая, сухая, посаженная на длинную шею, плоская голова Рогощука сияла гипнотическими очками, и вокруг нее, словно оберегая материнское гнездо, ядовитым цветком покачивались такие же крепкие, сухие, приплюснутые, осторожные, слабо шипящие головы. А за кафедрой, перед школьной доской, испачканной мелом, смежив раскосые янтарные глаза, как воскресший коричневый Будда, посапывал во сне лично Мамакан – жевал пустоту мягким трехслойным подбородком.

И Созоев постукивал карандашом по графину:

– Бу-бу-бу-бу… – что-то неразборчивое о планах кафедры на этот год.

Жека толкнул локтем в бок:

– Я сегодня был у него, он не хочет тебя видеть…

– Ладно, – переживая за свое опоздание, сказал Игнациус.

– Странно, но так и велел передать: я его больше не знаю…

– Ладно, – переживая, сказал Игнациус.

Эритрин находился в больнице. У него была повреждена челюсть и сломаны два ребра. Кроме того – сотрясение мозга. Похоже, что его били кастетами. Он пролежал на морозе около двух часов и здорово простудился. Опасности для жизни не было никакой. На другой день явился следователь, но не смог выяснить ничего существенного. Эритрин торопился в гости, а на

перекрестке Полярников и Новостарской у него попросили закурить. Кажется, их было трое. Он точно не помнил. Когда полез во внутренний карман за сигаретами, то высокий, в расхлюстанной лисьей шапке, ударил его под дых. Без какого-либо предупреждения. Дальше была только боль. Омраченье. Удары. Искры, сыплющиеся из глаз. Деньги и вещи остались в целости. То есть, видимо, не ограбление. Внешность нападавших он описать не сумел. Все произошло слишком быстро. Однако, утверждал, что никого из них раньше не видел. Адрес и фамилию приятеля, к которому шел, назвать отказался. Дескать, не имеет отношения к делу. Хулиганство, о чем еще говорить. В последнее время он ни с кем не ссорился, врагов у него нет, и он никого не подозревает. Вот такая история. Было только странно, почему пострадал Эритрин, а не сам Игнациус. Он вчера ездил на Сонную улицу – подняв воротник и сутулясь, чтобы не узнали, прошел вдоль чугунной ограды: ворота в оглохший сад были заперты и перевязаны цепью, а двери под треугольным козырьком заколочены крест-накрест – широкими толстыми досками.

И никаких следов на хрупкой корочке наста.

Вероятно, все нити были оборваны. И Созоев уже перестал бубнить.

– А позвольте вопрос? – сразу же сказали в середине аудитории.

Бубаев-старший огладил раскидистую бороду.

– Вопрос самый элементарный: зимой и летом – одним цветом?

Крысятник восторженно запищал и звериные хищные мордочки повернулись к кафедре.

Но Созоев не растерялся.

– Патефон, – чрезвычайно спокойно ответил он.

– Почему патефон?

– А – патефон, и все.

И Бубаев подавленно шлепнулся на скамью.

– А тогда позвольте другой вопрос? – Рогощук, даже не вставая, далеко над сиденьем вытянул свое гуттаперчевое тело. Будто кобра. Прорезались жилы на шее. – Без окон, без дверей, полна горница людей?

И сверкнул по рядам бифокальными мощными линзами.

– Патефон, – опять ответил Созоев. Неприятно набычился, снизу оглядывая аудиторию. – Еще есть вопросы?

И Рогощук тоже втянулся обратно. А гадючник венчиком сомкнулся над ним и – шур-шур-шур – задымилось участливое шипение.

– Ну, старик сегодня в ударе, под корень рубит, – восхитился

Жека.

Две навозные мухи вдруг закружились над макушкой его. И одна из них весело пискнула:

– Привет, ребята!..

Аудитория загудела.

– А тогда позвольте выступить! – опомнившись, закричал Бубаев. И, не дожидаясь разрешения, бодренько покатился вниз. Голый крысиный хвост высовывался у него из разреза пиджака и, как проволока, хлестал по скамьям.

Игнациус инстинктивно поджал ноги.

– Мне это не нравится, – довольно громко заявил Анпилогов, убирая журнал на английском, который читал.

Встала Элеонора и отряхнула роскошную рыжую шерсть вдоль предплечий.

– Даю справку по процедуре заседания, – невыносимо растягивая слова, произнесла она. Открыла толстенную книгу, переплетенную в дерматин, перелистнула несколько папиросных страниц и продекламировала, как в первом классе, тоненьким, очень старательным голосом: – В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Зайчишка-айка серенький под елочкой скакал, порою волк, сердитый волк, под нею пробегал!..

Аудитория загудела еще сильнее.

Игнациус ничего не понимал. Лишь таращился – до боли в распяленных веках. Осторожно, украдкой, пощупал себе лоб – холодный. Придавил, загибая, мизинец о край стола. Кажется, ничего не изменилось.

Обезумевший Жека с размаху заехал ему по спине:

– Не робей, Александр! Матросы не плачут!

А навозные мухи немедленно подтвердили:

– Ништяк!

Между тем неутомимый Бубаев все-таки взгромоздился на кафедру.

– Я не позволю вам профанировать! – яростно фыркнул он, поводя из стороны в сторону нежными розовыми ноздрями. – Вы не имеете права, я все равно скажу! – И, подняв пятерню, загундосил, как будто из бочки: – На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной… Кто ты будешь такой?

Вопрошая – как демон, уставил зрачки на Игнациуса.

Игнациус зашевелился.

– Не отвечай, не отвечай, – громко и высокомерно посоветовал ему Анпилогов, кладя ногу на ногу. – Не надо дискутировать, он на это и рассчитывает.

– Не буду, – согласился Игнациус, поднимаясь.

Желтый амфитеатр крутанулся вокруг него.

– Ты куда?

– Ухожу.

Его схватили с обеих сторон:

– Саша!..

– Не валяй дурака!..

– Они специально затеяли!..

– Бубаев хотел пропихнуть сына!..

– Поэтому!..

– У них ничего не выйдет!..

– Есть решение ученого совета!..

У Игнациуса неудержимо плыла голова. Свет из облепленных снегом окон шел – тусклый. Серые прозрачные перья роились в воздухе. Аудитория жужжала, как гигантский улей. Созоев, продолжая бормотать, снял очки и втянул голову под черепаший панцирь. Оцепенел – на годы. Мамакан величественно спал, булькая и вздувая мыльные пузыри на губах. Рогощук, неведомым образом очутившийся внизу, будто ветряк, мельтешил руками, выкрикивая: – Раз, два, три, четыре, пять! Вышел зайчик погулять! Вдруг охотник выбегает! Прямо в зайчика стреляет! Пиф! Паф! Ой-ей-ей! Умирает зайчик мой!.. – А вот это ты видел? – спокойно отвечал ему Бубаев, поднося к самому носу здоровенную красную фигу. В свою очередь задирал обе лопатообразных руки, беззастенчиво дирижируя: – Жили у бабуси два веселых гуся! – И весь крысятник, как по команде, подхватывал: – Ай люли, ай люли! Два веселых гуся!.. – Топали ногами в пол, барабанили по скамьям ладонями. Зинаида, отчаянно скрежеща, вращала ручку списанного арифмометра. Фонтаном пенились цифры. Бубаев-младший вместе с Хипетиным забрались на парту и оглушительно свистели в два пальца, приседая, по-видимому, от натуги. Как упившиеся соловьи-разбойники. Крамм, из гадючника, не выдержав их наглого торжества, разорвал зубами реферативный журнал, очень быстро скатал увесистый ком бумаги и запустил им в Хипетина – точно по лбу: – Схлопотал, крыса белая?!. – В ответ Хипетин плюнул, и у Зинаиды потекла тушь на ресницах. Девицы из ее лаборатории пронзительно завизжали и Хипетин в мгновение ока оказался погребенным под острыми топочущими каблуками – взлетели манжеты, пуговицы, белые клочья халата. Злобный Ковырнос, тоже принадлежавший к гадючнику, ухватил Молочкова за галстук и, дергая, начал колотить его носом о парту, зверски приговаривая: – Сдохнешь – не прощу! Сдохнешь – не прощу!.. – Умира-а-аю!.. – блеял гибнущий Молочков. – Заступи-и-итесь, члены ме-е-естного

комите-та!.. – Коричневая доска, как стена судьбы, нависала над кафедрой. Странные нечеловеческие знаки были начертаны на ней. Элеонора, обжигаясь, стирала их кончиком лисьего хвоста, но они загорались вновь – зелеными неоновыми трубками. – Наша взяла!.. – завопил Рогощук и, подпрыгнув к квадратному подбородку Бубаева, вцепился ему в бакенбарды. Тогда Бубаев без долгих размышлений дюбнул его кулаком по уху и Рогощук, не выпуская бороды, описал круг в воздухе, задев подметками Мамакана.

– Я – здесь! – глубоко из нутра отозвался дремлющий Мамакан. – С чмоканьем разлепил веки. – Тэкс! – Не торопясь принял у Элеоноры тяжелый том в дерматиновом вытертом переплете, немного подумал, – Тэкс! – и шандарахнул им Бубаева прямо по черепу.

– Выходили гуси, кланялись бабусе… – перекосившись, видимо на остатках разума, просипел выключенный Бубаев. Покачался и шмякнулся, как бревно. Ботинки у него слетели, а сквозь драные носки засветились мозолистые тупые пятки.

– Не надо, не надо! – жалобно простонал Рогощук, извиваясь, защищая себя локтями. Но пятьсот страниц «Правил и комментариев» уже всей массой обрушились на него, и змеиная голова провалилась в плечи, оставив между ними идеально ровную пустую площадку.

– Регламент, – солидно объяснил Мамакан, просыпаясь и держа увесистый том наготове. – А еще кто будет выскакивать, башку проломлю!

Порядок кое-как восстанавливался.

Из крысятника тихонечко спустились трое и, взяв Бубаева за ноги, потащили его наверх. Очумевший истерзанный Хипетин собрал ботинки. И еще двое, теперь уже из гадючника, понесли обезглавленного Рогощука, который провисал между ними, будто гибкий резиновый шланг.

А внутри у него что-то булькало.

– Ну, это уж слишком, теперь моя очередь, – побурев до ногтей, стервенея, сказал Анпилогов. Громко скрипя суставами, сильно кренясь вперед, прошагал на кафедру, отодвинул вновь задремавшего Мамакана. Игнациус с испугом увидел, что он весь – деревянный, занозистый, с кольцевыми разводами сучков на щеках. А вместо волос – темная картофельная ботва.

– Общая проблема, рассматриваемая здесь, – ощутимо злясь и оттого отчеканивая каждую букву, произнес Анпилогов, – сводится к ряду экстремальных задач на условный минимакс. Согласно Позднышеву и Браве, наилучшей конформной проекцией сознания для данной области знания является та,

крайняя изокола которой совпадает с контуром очерченного сознания. – Помолчал и строго посмотрел в аудиторию. Там ошарашенно притихли. – Верно? – спросил он. – Верно, – вразнобой ответили из рядов. – Но тогда, как следствие, сознание наименее отклоняется от нуля при максимальной кривизне воображения, – сухо заключил Анпилогов. Опять помолчал и отрывисто, резко кивнул. – Благодарю за внимание.

После чего возвратился на место и нервно сказал Игнациусу:

– Извини, Александр, я обязан был выступить. Я даже не тебя защищаю. Просто некоторые вещи нужно говорить прямо и грубо – как они есть – иначе о них будут забывать.

– Я понимаю, – с тоской ответил Игнациус, глядя в деревянные потрескавшиеся глаза.

Жека с другой стороны, обнимая его, как в пивной, не смущаясь, заталкивал в ухо пузырящийся дружеский шепот:

– Эмма мне все рассказала, ты – просто чокнутый, я не знаю сейчас, кто из вас прав, Валентина, конечно, тоже не подарок, но ведь глупо бросать налаженную семью, потому что потом придется буровить все сначала: квартира, дети, – если возникает что-то на стороне, то совсем необязательно информировать об этом жену, наоборот, – жизнь становится гораздо приятнее, Эмма не спрашивает меня, куда я иду, а я не спрашиваю ее, мой тебе совет: наплюй, Валентина – хорошая баба, осточертело в КБ, бегает по выставкам, свихнулась на испанцах – ладно, пусть водит группы, бывают сдвиги похуже, конечно – дура, но зачем ломать навсегда? – немного внимания, подарок к празднику, и она тебя обожает, главное – никаких забот, ты улавливаешь мою мысль, Александр?

Игнациус улавливал. Советы хороши для того, кто их дает. Ошарашенный внезапной паузой, он выпрямился. Почему-то все смотрели на него. Тишина в аудитории стояла жуткая, как в подземелье.

– Прошу вас, Александр Иванович, – нетерпеливо повторил Созоев.

Видимо, уже не в первый раз.

В полном одиночестве, протыкая молчание шагами, Игнациус поднялся по трем ступенькам. Намокающий воздух загустел от злобы и неприязни. Тем не менее, он почти не волновался. Волноваться ему было незачем.

Все это не имело никакого значения.

– Мой доклад посвящен некоторым вопросам прямого взаимодействия гарбонов с точечными марками при делении цикариоля, – сказал он.

– Ого! – выдохнули под потолком.

Аудитория остолбенела.

Очень обыденно вошел Грун и сел на свободное место. Он был в своем неизменном черном свитере, растянутый ворот которого открывал ключицы, и в выцветших джинсах. Он нисколько не изменился. – Здравствуй, Федор, – сказал Игнациус, – у меня сегодня – предзащита, говорили, что ты умер, а ты нисколько не изменился. – Здравствуй, Саша, – ответил ему Грун, – не переживай насчет моих данных, мне теперь уже все равно, я давно об этих данных забыл. – Почему ты ушел из института, мы очень волновались? – спросил Игнациус. – Со мной произошла странная история, – ответил Грун, – я потерял себя, вся жизнь переломилась, вероятно, я должен был отсюда уйти. – Со мной тоже произошла странная история, – сказал Игнациус, – сегодня я вдруг опоздал на заседание кафедры, я пришел вовремя и вдруг выяснилось, что я – опоздал. – Ты живешь в двух временных измерениях, – сказал Грун, – они сталкиваются и порождают хаос, от которого меркнут звезды. – Два времени? – спросил Игнациус. – Два времени, – подтвердил Грун. – И еще вокруг меня какое-то черное безумие, – сказал Игнациус, – все говорят и поступают так, словно они сошли с ума. – Это – Ойкумена, – не сразу ответил Грун. – Ойкумена? – Я тебе не мешаю, Саша, ты ведь должен читать доклад? – Нет, – объяснил Игнациус, – я выучил доклад наизусть, я повторил его пятьдесят раз и могу говорить механически. – Это – Ойкумена, – опять сказал Грун, – по невидимым порам она бесшумно просачивается в мир и обволакивает тебя, засасывая в глухую полнощную топь, ты уже частично принадлежишь ей. – Что же делать? – запинаясь спросил Игнациус. – Отдать кольцо и забыть. Как тебе советовали, – сказал Грун, – это – единственный выход. – Я не хочу, – сказал Игнациус, – я люблю ее, я искал ее всю жизнь, я ее нашел, никакая Ойкумена не заставит меня отказаться от нее. – Победить или умереть? – спросил Грун. – Победить или умереть, – подтвердил Игнациус. – Ну, мне пора, – сказал Грун, – сейчас начнется небольшой ералаш, старик уже машет руками.

– Подожди, я с тобой, – попросил Игнациус.

Но Груна не было. Была знакомая кошмарная аудитория, залитая худосочным электричеством, в искристо-желтом туманном нутре которого, будто водоросли, колыхались нерезкие фигуры.

И Созоев действительно махал руками:

– Хватит-хватит, вы переутомились, Саша!.. Хватит-хватит, вам надо отдохнуть!..

Жека и Анпилогов, оба с вытянувшимися лицами, почему-то заботливо поддерживали его под локти, а перепуганная Элеонора

совала стакан мутной воды:

– Пожалуйста, Александр Иванович…

Игнациус не понимал – при чем тут стакан, но, робея, послушался. И когда он пил теплую, затхлую позавчерашнюю воду, то десятки глаз с жалостью и плохо скрываемым удовлетворением любопытно ощупывали его.

– Я вас отпускаю, вы можете не ходить на работу, пока не поправитесь, – громогласно объявил Мамакан. – Правильно, Андрей Борисович? – Созоев сдержанно покивал. – А от себя рекомендую: каждый день перед сном растираться подогретой кошачьей мочой. Я таким образом вылечил застарелую грыжу. У вас кошка есть?

Игнациус повернулся и, как лунатик, – не видя, – пошел на расступающиеся перед ним одинаковые серые колеблющиеся фигуры.

Было ясно, что все теперь – позади.

– Знаешь, что ты сделал? – догоняя его в коридоре, спросил бледный от гнева Анпилогов. – Ты вместо доклада исполнил песню «По диким степям Забайкалья»…

Игнациус вырвал руку.

– Пусти меня!

– Нашел время забавляться…

– Пусти!

Их толкали спешащие куда-то студенты.

– Неостроумно, – сказал подоспевший Жека. – Ну, – обиделся на этих крыс, ну, – идиоты они. Но зачем же самому себе при этом вредить? – Он осекся. – Или, может быть, ты все-таки болен?

– Да пошли вы – туда-сюда… – несправедливо сказал Игнациус.

Он боялся, что брызнут из глаз позорные слезы.

– Ты прежде всего нас подвел, – процедил Анпилогов ему в спину.

– А у тебя – ботва на голове, – обернувшись, сказал Игнациус ломающимся голосом.

Как-то по-дурацки.

Жека ненатурально захохотал.

– А зато у тебя нет слуха!..

Игнациус сбежал в вестибюль, натянул пальто и одним ударом нахлобучил потертую кроличью шапку. Чего они хотят от него? Он никому ничем не обязан. Пусть они катятся – ко всем чертям!

Институтская дверь простуженно скрипнула.

Под заснеженными обомлелыми деревьями в черно-белом контрасте двора переминался с ноги на ногу человек, выдыхая

пар из расстегнутой собачьей дохи.

– Слава бессмертному Кругу! – воскликнул он. – Я уже боялся, что пропустил вас в потоке. Честно говоря, я жду вас здесь более двух часов. Как всегда, вы не торопитесь, сударь. Идемте!..

Это был – Экогаль, запорошенный инеем по кошачьим оттопыренным жестким усам.

– Как раз вы мне и нужны, – сказал ему Игнациус, бешено глядя в осколки желтого янтаря с вертикальными воспрянувшими зрачками.

– Осторожнее, – предупредил Экогаль. – По-моему, за нами следят.

Он мотнул головой.

Меж сосульками мерзлых кустов, дробящих фонарный свет, шевельнулись какие-то неясные тени.

Игнациусу было все равно. Экогаль потащил его прочь из сквера. Набережная была завалена перелопаченными сугробами, а канал – до парапета – глыбами жуткого льда. Не попадалось ни одного встречного. Дома, уходящие за поворот, выглядели нежилыми. Крылатые грифоны стискивали в зубах цепи, на которых висел ажурный мост.

– У меня к вам записка, я рассчитываю на ваше благородство, сударь, – сказал Экогаль. – Не оглядывайтесь, пустяки, их всего-навсего человека четыре. Кстати, я слышал, что вы хорошо владеете шпагой?

– Давайте записку, – сказал Игнациус.

– Но не здесь же.

– Давайте!

Он вдруг остановился. На спуске с моста, за опасными мелкими ступеньками у шершавого парапета, как ночные ханыги, сгрудились еще четверо: нахохлившиеся, руки в карманах. И один из них – Градусник. Игнациус сразу узнал его. А второй – это, по-видимому, Стас, в растрепанном лисьем малахае.

И Экогаль остановился тоже.

– Все. Живыми они нас не отпустят, – хладнокровно сказал он.

Глава 6

Снег перестал. Очистилось небо в крупных звездах. Умытая яркая луна тихо выплыла над стрелой подъемного крана и через развaленную крышу заглянула внутрь – остовы стен, как челюсти, смыкались вокруг нее. Проступили бритвенные лохмотья труб, концы балок, висящих в воздухе, двери, обои, раковины и ощеренные доски в скелетах бывших квартир. Света было много, даже слишком много. Перчатка, в которую уткнулся Игнациус, казалась серебряной.

– Стоит? – шепотом спросил Экогаль сзади.

Ему было не видно.

– Стоит, – так же шепотом ответил Игнациус, осторожно вытягивая шею.

На заснеженном светлом прямоугольнике парадной отпечаталась растопыренная тень.

Человек ждал и не собирался уходить.

Путь был закрыт.

– Знать бы, где остальные, – сказал Экогаль. – Мы тут, пожалуй, замерзнем.

– А сколько их?

– Десятка полтора.

– Всего?

– Не так-то просто выйти из Ойкумены. – Экогаль вдруг стремительно зажал нос рукой и чихнул – внутрь себя. – Фу-у-у… Некстати. С этим мы, конечно, справимся, если он один…

– Зашумит, – сказал Игнациус, противно сглатывая.

– Не зашумит.

Тонкий и длинный стилет высунул жало из рукава.

– Не надо…

– А говорят, сударь, что вы закололи троих из дворцовой охраны? – недоверчиво хмыкнул Экогаль.

– Там были жуки.

– А здесь кто?

– Все равно нам не спуститься, лестница разбита, – сказал Игнациус.

Они лежали на площадке третьего этажа. Пахло горелым, старым и нежилым. Сквозь пальто уже чувствовался проникающий каменный холод. Свешивались заизвесткованные жилы кабеля. Внутренняя часть дома была сломана для ремонта, и лестница, ненадежно прилепившаяся к стене, пролетом ниже обрывалась в колодезную пустоту – на груды битого кирпича и перекореженную арматуру. Сумрачно сияли осколки стекла в

рыхловатом грязном снегу. Я не хочу здесь лежать, подумал Игнациус. Я ужасно боюсь. Я весь пропитался страхом. Ойкумена понемногу обгладывает меня, оставляя незащищенное живое сердце. Я боюсь этих таинственных чудес и превращений. Я боюсь неповоротливых и беспощадных жуков. Я боюсь сладко-вкрадчивых людей-гусениц. Я боюсь подземного мрака, который медленно разъедает мою жизнь. Я боюсь даже Ани. Даже ее я боюсь. Мы с ней виделись всего четыре раза: понедельник – голый сквозняк ветвей, утро пятницы – последние скрученные листья, воскресенье – на площади, Исаакий в сугробах, и опять воскресенье – черное шуршание на Неве. Она не хотела говорить, где живет. Я поцеловал ее в Барочном переулке. Вот, чем это кончилось – замызганная чужая лестница, развалины, чадящие дымом и смертью, смятый окурок перед глазами и банда оборотней, рыщущая по стройплощадке в поисках крови.

– Значит, каждый раз, когда я попадаю в Ойкумену, я что-то теряю в своем мире? – спросил он. – Значит, с каждым шагом моим обрывается какая-то ниточка?

Экогаль дернул плечом.

– Нашли время!

И в разгромленном кирпичном колодце, прямо над их головами, отчетливо раздалось:

– Эй!.. Вроде никого…

– А ты посвети, посвети, – гулко посоветовали из парадной.

Кто-то зажег газету и бросил ее. Пламя, разворачиваясь на лету, пачкая воздух клочьями огня, вспыхнуло и озарило угрюмые покинутые пещеры, беззубые зевы которых подавились морозом. Тени на гигантских ходулях шарахнулись до самого неба.

– Ни души, – сказали в колодце.

– Все обыскать, поджечь подвалы!..

Розово-темные неверные блики освещали Стаса в проломе четвертого этажа. Он свешивал малахай – разглядывая хаос внизу.

А из-за спины его высовывалась охрана.

– Сейчас бы арбалет, – простонал Экогаль. – Я снял бы его первой же стрелой.

Газета вспыхнула и догорела. Он потянул Игнациуса за рукав. Игнациус понял и пополз обратно. Ползти было крайне неудобно. Задирающееся пальто сбивалось в комок. Он уперся ногами во что-то мягкое.

– Осторожно, вы расплющите мне нос!

Они вернулись в комнату, где каким-то чудом сохранились почти все стены, и Экогаль, придерживая разноголосье пружин, осторожно опустился на полосатую, ободранную, без ножек, тахту, из которой немедленно вытекла трухлявая струйка.

Совершенно бесшумно вонзил свой стилет в переборку над головой. – Очевидно, мы все-таки влипли, сударь. Как в мышеловке. – Гладкий бритый череп его блестел. Узловатые пальцы выдергивали из тахты нитку за ниткой. – Впрочем, будем надеяться, сударь, что еще не все потеряно. Еще есть выход. Нам бы добраться до Галереи, там – мои люди. Они не могли поставить оцепление по всему району. У них не так много лазутчиков, способных принимать человеческий облик. В крайнем случае, переждем ночь здесь, место – вполне укромное…

– Покажите записку, – сказал Игнациус.

– Что? Ах, записку… – Экогаль порылся в обмерзшем меху и протянул на грубой ладони плоскую малахитовую гемму с женским профилем. Иронически смотрел, как Игнациус вертит ее так и сяк – безуспешно.

– Кольцо у вас с собою?

– Да.

– Давайте!

Игнациус отвел нетерпеливую руку.

– Правильно, – сказал Экогаль и засмеялся, приглушенно заперхал, натянув кожу вокруг широких зубов. – Правильно, сударь, никогда и никому не давайте это кольцо – ни на одну секунду, ни за какие клятвы. Имейте в виду, что отнять силой его нельзя, оно потеряет свои волшебные свойства… А чего вы, собственно, ждете?

Скорпион обхватил профиль на гемме и слабый янтарный свет просиял в нем изнутри.

– Нет никакой надежды, – сказала Аня невыносимо хрупким, пустым, бесчувственным, как стекло, голосом. – Наступает полнолуние. Время нашей судьбы на исходе. Непрерывно заседает Тайный Верховный Совет. Поднята гвардия, отряды ночной стражи перекрыли дороги. Сохнет трава и птицы падают замертво. Фукель будет властвовать над Ойкуменой… Нет никакой надежды. Из тюрьмы меня перевели в Башню – это камера Дев. Отсюда видно только небо. И слышен четкий, безостановочный стук металлических шестеренок. Идут часы Круга. Персифаль не знает, что я здесь. Когда на празднике Звездных Дождей под плач двенадцати флейт и рокочущие завывания литавров мне придется давать вечный Обет Супруги, я высыплю в свой бокал зернышко маллифоры, спрятанное в ладанке на груди: разорвутся все цепи, тень моя отправится в бесконечное странствие по россыпям Млечного пути… Нет никакой надежды. Мятеж птицеглазых подавлен. Герцогу удалось бежать, но войска его разбиты. Заколочены ставни домов. Идут обыски и казни. Черная пыль поднялась над Ойкуменой. Стонут

колокола и рдеют в вечерней мерклости сонные иглы чертополоха… Нет никакой надежды. Полночь уже близка. Один из тюремщиков согласился передать эту записку. Я не знаю, попадет она по адресу или нет, но вспомни обо мне, когда наступит праздник и Зеленые Звезды, шелестя, прольются над городом. Я говорю тебе: прощай, – потому что у нас не осталось ничего, кроме этого короткого печального слова…

Раздался щелчок и скорпион замер, бессильно обвиснув лапками.

– Выходит, что Персифаль не знает, – загадочно произнес Экогаль. Он внимательно слушал. Зрачки его, белыми точками отражая луну, сужались и расширялись, как у пантеры. А на скулах проступили деревянные желваки. – Это меняет дело. По слухам, он при смерти, тоже отравлен… Может быть, и лучше, если мадонна обвенчается с Фукелем, это сохранит ей жизнь. Подумаешь, старый муж… Зато – новый Звездочет и молодой любовник. Мы в бараний рог согнем весь Тайный Совет… – И он вдруг охрип, уколотый в задранную гортань игольчатым жалом. – Пус-ти-те-вы-с-ума-со-шли! – Сел, растирая большой угловатый кадык. – Ну и рука у вас, сударь, железная… Успокойтесь, я не стану вас предавать, на мне слишком много грехов, Фукель меня не помилует.

Игнациус бросил стилет.

– Значит, я могу проникнуть в Ойкумену в любое время и в любом месте? – спросил он.

– Конечно, – Экогаль, как копье, выкинул вперед багровую замшевую перчатку. – Вот она, Башня Дев…

Над омертвелым цинком крыш, над переплетением проводов, над рогами щетинистых мрачных антенн, облитая звездным трепетом, плыла шестиугольная суставчатая каланча, огороженная снежным барьером по острой верхушке. Ватное, хвостатое облако уцепилось за голый флагшток ее, ни одной искры не было в узких погашенных надменных окнах.

Игнациус попятился и сел на тахту. Бахнула пружина из лопнувшей обшивки.

– Т… д… б… д… – судорожно сдавливая ему плечо, просипел Экогаль.

И точно в ответ на это, сказали очень ясно, в пугающей близости:

– Они здесь, клянусь вечным Кругом! Я просто чувствую, что они здесь. Шевелитесь, пожиратели дерьма, вы будете искать их всю жизнь, пока не сдохнете!

Этажом ниже трещала кирпичная чешуя под крадущимися шагами.

Игнациус окостенел. Если они нас поймают, то обязательно убьют, подумал он, щурясь от напряжения. Просто так они нас, разумеется, не оставят. Или отнимут кольцо Мариколя. Что, впрочем, одно и то же. Потому что тогда мы расстанемся уже навсегда. Но ведь должен же быть здесь хоть какой-нибудь выход. Башня находится на Невском, или где-то поблизости, за Гостиным двором. Надо, по-видимому, идти в Ойкумену. Если победа возможна, то – только там. Это хорошо, что я научился бояться. Раньше я совсем ничего не боялся и у меня была – не кровь. А тягучая белая лимфа, как у лягушек. Он шевельнулся, забывшись, и пружины тихо звякнули, а пальцы герцога, будто гвозди, вонзились в плечо. Экогаль оскалился. Со своей бритой головой и ярким густым румянцем он был похож на целлулоидную куклу. На очень большую и очень опасную куклу. Игнациус оторвал жесткую пятерню. Лунный холод царил в комнате. Изморозь осыпала пол и стены. Вплотную у проема зажигались белые звезды. Нас сейчас обнаружат, снова подумал он, прислушиваясь к хрустящим шагам. Надо идти в Ойкумену и пробиваться к Башне. Там стоят гвардейцы, я не представляю, как справиться с гвардейцами. А в коридорах – жирные тюремные крысы. И сквозь них тоже надо пройти. И еще, говорят, заколдованная каменная дверь: требуется печать Гнома, чтобы отпереть ее. И надо добраться до Главных Часов, и разомкнуть цепь в механизме, и освободить масляную пружину, и перевести стрелки часов на двенадцать. Тогда реальная земная полночь совместится с полночью Ойкумены. Добрый путаник Мариколь, остановивший время, чтобы укрыть свою страну от враждебного мира – он не знал, что в межвременьи вольготно живут лишь одни насекомые. Или люди, готовые стать насекомыми. Такие всегда найдутся.

Что-то тяжелое обрушилось в конце коридора и сейчас же снизу спросили:

– Ну что там?

– Куча дурацкого барахла, – буркнули из соседней комнаты. – Нужен кому-нибудь чайник без ручки? А сломанный торшер?

Пересекая несуществующую дверь, вспыхнул фонарик.

Игнациус не успел даже моргнуть: массивная стремительная фигура Экогаля, обведенная в темноте резким фосфором, прижалась сбоку от косяка и тонкий смертельный блеск высунулся из перчатки. Запахло гарью, наверное, подожгли подвалы. Горький сырой дым потек наверх. Игнациус просто ждал. Делать ничего было не надо. Голубой луч фонарика ощупал заиндевелые балки, дранку, крылья обоев, натолкнулся на белый косяк и внезапно прыгнул ему в лицо. Ослепленный, он даже не шелохнулся. Он знал, что незачем. Мгновенный хрип, больше

похожий на кашель, прозвучал в комнате – легко отлетела чужая жизнь. Свет вывернулся наизнанку и в глазах начали сталкиваться фиолетовые густые пятна. Заскрипело в углу, будто опустили туда мешок с картошкой. Экогаль сказал возле уха, одним дуновением:

– Все. Теперь нам нельзя здесь оставаться. Да не сидите, как неживой, сударь!

Ноги, обутые в меховые унты, лежали поперек дверей. Игнациус, стараясь не смотреть, кое-как перешагнул через них.

– Значит, в полночь, когда восстановится связь времен, Ойкумена погибнет? – спросил он.

Вместо ответа Экогаль выругался во весь голос.

– Назад!

А из дыры в потолке радостно завизжали:

– Ко мне!.. Ко мне!.. Скорее, господин начальник стражи!.. Я первый их обнаружил!..

Они побежали по лестнице. Ступени содрогались и зигзагообразная трещина вдоль стены увеличивалась прямо на глазах. В квартире уже громко топали. Сыпалась штукатурка. Пустая коробка дома вдруг загудела от воплей. Экогаль, съехав животом по краю площадки, повис на руках. – Прыгайте, сударь! – и ухнул в пропасть. Отломился кусочек бетонной плиты. Игнациус разжал пальцы – ударила твердая земля, кривовато швырнуло, боль в правом колене пронзила до крупных слез. Из подворотни, бросая тени на гладкий снег, бежали какие-то люди в распахнутых черных дубленках. Он захромал в сторону, нога у него совсем не сгибалась. Накатило пронзительное отчаяние. Экогаль, прижатый к стене, яростно отмахивался стилетом. Несколько человек суматошно дергались вокруг него – угрожая, но не решаясь приблизиться.

Появившийся Стас нехотя разгибался после прыжка.

– Ну, привет, – обыденным голосом сказал он. И поправил сбившийся рыжий малахай с большими ушами. – Верни кольцо и можешь идти домой, я тебя отпускаю…

Он нисколько не волновался. Дело было совсем пустяковое. За спиной его, разминая кисти, ухмылялись довольные Кенк и Пенк. Почему-то они слегка закатывали глаза. Игнациус машинально прижал карман. Не хватало воздуха. Слезы текли по морозным щекам и болезненная слабая пустота распирала сердце. Надо было отдать кольцо, все равно изобьют и отнимут. Стас был сильнее его, наверное, раз в десять. Он и сам не понимал, почему мотнул головой:

– Нет…

– Я же из тебя котлету сделаю, – пообещал Стас и лениво

ударил.

Игнациус, будто во сне, увидел, как медленно выпрямляется его страшная жесткая натренированная рука и приближается мозолистым ребром своим, чтобы, разрубив горло, наполнить все жилы парализующей болью. Он посторонился и ладонь пролетела мимо, врезавшись в стенку.

– А-а-а!.. У-у-у!.. – завыл Стас, крутясь на месте. – Ну, теперь я тебя изувечу!..

Двигался он удивительно медленно – по сантиметру, как на рапиде. Можно было закурить, пока он кидался. Игнациус отступил опять и воющее, изломанное в прыжке тело бревном шмякнулось о кирпич.

– Отлично! – крикнул Экогаль.

Свора, треплющая его, отпрянула, а один заскулил, как дворняга, и сел на корточки, баюча распластанный мокрый рукав.

– Пробивайтесь на Галерею, сударь!..

Скучно дымились подвалы. Малиновые сполохи перекатывались по истоптанному снегу. Сияла сумасшедшая шальная луна. Я еще жив, удивляясь, подумал Игнациус. Удивляться было особенно некогда. Кенк и Пенк, враз отбросив ухмылки, деловито ринулись на него. Они были натренированы, вероятно, не хуже, чем Стас, но двигались почему-то еще медленнее его. Игнациус мог рассмотреть в отдельности каждый крохотный жест: вот сгибается локоть, морщиня рукав, вот, закрючиваясь, сводятся воедино пальцы, вот откинутая рука заносится для удара, а бойцовая тяжесть тела перемещается на ступню. Он толкнул Кенка в плечо и Кенк рухнул, как подкошенный – заелозил по снегу разомкнутыми клешнями. А Игнациус, уже смелее, уклонился от Пенка, который с остервенелым лицом погружал кулаки – в место, где он только что находился, и, не думая ни секунды, по-женски толкнул и его, и Пенк тоже рухнул – рассыпавшись, как поленница. Отлетел, будто пробка, тяжелый рифленый кастет. Зазвенела какая-то мелочь из вывернутых карманов. Царапнул сзади когтями пришедший в себя Стас, но Игнациус лягнул наугад и отброшенный Стас согнулся в три погибели. – О-о-о!.. – Двое из окружения Экогаля обернулись, в руках у них были ножи. Первый сразу же получил в челюсть – изумленно попятился и пятился до тех пор, пока не споткнулся о торчащую железяку. А финка второго, сверкнув дугой, порхнула назад и сам он устремился по воздуху вслед за нею. Еще двое чернели на снегу в неестественных раздавленных позах, а Экогаль возил за шиворот третьего, дико ругаясь и осыпая его увесистыми тумаками.

– Пощадите, пощадите, милорд… – стонал избиваемый.

Из подворотни на помощь ему торопились, повизгивая, человек пятнадцать – все в хитиновых панцирях, вытаскивая на бегу шпаги.

– Мы что, в Ойкумене? – задыхаясь и дрожа, спросил Игнациус.

– Давно уже…

Хорошим пинком Экогаль опрокинул лазутчика. – Живи, гусеница!.. – а затем, мгновенно оценив обстановку, вышиб заколоченные створки у себя за спиной. Они скатились куда-то под лестницу. Игнациус с размаху шандарахнулся лбом о поперечный брус – только искры посыпались.

Герцог ломал замок на жестяной крышке подвала.

– Скроемся под землей, в древних лабиринтах, – сказал он. – Нам бы добраться до Галереи, есть еще верные люди. Еще заполыхает – с четырех сторон, – стальная дужка не поддавалась. – Это перстень Мариколя оберегает вас, сударь, а я думал – легенды…

– Потому и хотели его отобрать?

Экогаль лишь подвернул напряженные злые губы, вытаскивая замок вместе с гвоздями.

Брякнули отодвигаемые засовы. Из подвала повалил густой серый дым. На улице уже орали: – Куда они делись?!. Струсил!.. Повешу, сволочь!.. – Вероятно, Стас приводил свое воинство в порядок. Раздумывать было некогда. Игнациус набрал воздуха и нырнул прямо в черную зловещую квадратную яму. Гудела голова и колено разламывалось при каждом шаге. Плотный дым выедал глаза. Ничего не было видно в душной и жаркой темноте. – Сюда, сюда, – приглушенно звал герцог. Непонятно откуда. Игнациус брел, как слепой, ощупывая горячие влажные трубы. Поворачивал в какие-то узкие закутки, спотыкался о ящики, разбросанные вдоль прохода. Всякое направление он уже потерял. – Где вы, милорд? – Ответа не было. Тонко пищала вода и перекликались комариные голоса – глубоко в перепутанных клетях. Немного посветлело. Выступили из мрака углы. Он вскарабкался по невысоким ступеням и наслаждением вдохнул полной грудью. Сердце у него бешено колотилось. Кажется, выбрался. Но где милорд Экогаль? Милорда Экогаля не было. Вероятно, не было и Стаса с его панцирными насекомыми. Плоский солнечный луч, переливая в себе остатки дыма, рассекал парадную. Упирался в почтовые ящики, в которых белели газеты. Задерживаться здесь, конечно, было нельзя. Игнациус толкнул дверь и вдруг пошатнулся, неожиданно оглушенный снежным холодным блистающим великолепием.

Глава 7

– Сколько времени?

– Без пяти.

– Без пяти – чего?

– Три.

– А день?

– Не понял…

– Какой сегодня день?

– Воскресенье…

– А число?

– Двенадцатое… двенадцатое января. Извините, пожалуйста, я тороплюсь…

Прохожий побежал дальше и не выдержал – оглянулся. Вероятно, его поразил вид Игнациуса. Игнациус поспешно свернул и пошел по Перинной, где меньше народа. Он был ошарашен. Двенадцатое января! Получается, что он пробыл в Ойкумене шесть дней. Почти неделю. Ничего себе образовалась прогулочка. День был яркий. Башня Звездочета на углу Невского и Перинной тупым шестигранником упиралась в небесную синь. Легкий живой туман дрожал в перспективе улиц. Капали сосульки. В первой же подворотне он отряхнул пальто: сажа и ржавые полосы, – захватив носовым платком снега, тщательно вытер лицо.

Сойдет до дома.

Шапку он опять потерял.

К счастью, тут было недалеко: Тербский переулок, Садовая, Апраксин двор. Что он скажет теперь Валентине? Отсутствовал целых шесть дней. Ладно, что-нибудь скажет. Спать… Спать… спать…

Он засунул руку в карман. Ключей не было. Тоже, видимо, потерял.

Но сегодня же – воскресенье.

Посмотрим.

Он нажал кнопку звонка и через секунду выглянул молодой бородатый красивый мужчина в тренировочном теплом костюме на молниях.

– Вам, товарищ, кого?

Удар!

Этого человека Игнациус никогда не видел. Он отступил на шаг и проверил номер. Номер был тот. Да и дверь он знал наизусть – свежий полукруглый затес на краске, это когда меняли замок.

– Ошиблись адресом? – спросил бородатый.

– Нет, – сказал Игнациус. – Дом девятнадцать, квартира двадцать один…

– Правильно…

– Улица Низовская…

– Правильно.

– Я здесь живу, – сказал Игнациус.

Кровь внезапно бросилась ему в лицо. Ситуация была анекдотическая: возвращается муж из командировки…

Все смеются.

Кроме мужа.

– Это я здесь живу, – возразил бородатый. – Уже целых три дня. Вам кого-нибудь из прежних жильцов? – Вдруг наморщил желтоватый угристый лоб, вспоминая. – Ах, да… Александр Иванович?

– Он самый.

– Валя предупреждала, что вы можете сюда зайти. Мы ведь с ней поменялись три дня назад. Так сказать, разъехались и съехались – по нынешним ценам. Валя говорила, что вы не будете возражать. Разменяться сейчас – громадная непростая проблема… Так не будете возражать?

Удар!

– Не буду, – сказал Игнациус.

– Она вам и ключи оставила, – обрадовался бородатый. – Айн маленький момент!

Он скрылся в квартире, и Игнациус слышал, как он сказал кому-то внутри. – Нет-нет, мамхен, это не милиция, не волнуйся, пожалуйста, у нас все в порядке. – Возник со связкой ключей. – Вот, держите.

– Адрес?

– Свечной пять, семьдесят девять – это недалеко. Центр, как полагается, все удобства: отличная комната, большое окно, малонаселенная квартира, еще одна старушка – тихая, по нынешним ценам…

– До свидания, – сказал Игнациус.

– Ага, – сказал бородатый. – Не забудьте, пожалуйста, четвертый этаж…

Снег, наверное, валил все эти шесть дней, потому что безукоризненными слоями лежал на проводах, на карнизах, на придавленных голых ветвях. Солнце ярко краснело над белыми трубами. Игнациус взлетел на четвертый этаж. И чуть не сбил помойное ведро перед дверью.

– Так, – сказал он.

Было очень неловко отпирать чужую квартиру, и в прихожей

он громко кашлянул. Коридор, где двоим было не разойтись, освещался тлеющей лампочкой – наверное, ватт десять, не больше.

Посередине него тихо образовалась щель.

– И кто там?

– Новый сосед.

Звякнула одна цепочка, потом вторая, затем третья, и, наконец, сухая, маленькая, как воробей, старуха показалась из комнаты, держа наготове альпинистский топорик.

– Росту среднего, пальто коричневое, грязное, лицо – брюквой, уши оттопыренные, – сказала она. – Вроде, все совпадает… Меня Анастасией Никодимовной кличут. Значить, распорядок у нас такой: места общего пользования, убираемся через день, и нужник – обязательно тоже, счетчики у нас разные, табак свой дыми на улице, мой выключатель, который пониже, кобелей вонючих не заводить, сейчас, значит, моя лампочка надрывается, андресоль свалилась, стульчак текет и шатается, кранты книзу не перегибай, в ванне дыра, штикатурка – сыпется, ходи на цыпках, крановщика не дозовешься, газ два раза взрывался, на кухне протечка, исподники на колидоре не вешать, встаю я в пять, ложуся соответственно, должна быть тишина по конституции, если там девки пьяные или компании, то здеся не общежитие, безусловно жалоба участковому – в жэк и по месту работы, я двоих уже выселила за аморалию, тараканов – мало, клопы все сдохли, ведро с дерьмом выносить каждый день, стол твой на кухне, который в углу, а полочка – моя, моя полочка, будешь у меня котлеты воровать, подам в суд, вплоть до высшей меры…

– Подружимся, – сказал Игнациус.

Открыл свою комнату. Она была, как пенал – полутемная, а окно – со спичечную коробку. Из мебели стояли шкаф, тахта и пара продавленных стульев.

– Приходили к тебе шаромыжники, – сказала старуха из-под руки. – Я чужим, между протчим, не открываю. Так швыряли писульки, а у меня поясница – чтоб нагибаться…

Была записка от Жеки: «Заходил десять раз, куда ты делся, идиот проклятый? „И была записка от Анпилогова: „Александр, немедленно позвони, дело очень серьезное“. И была записка от Валентины: «Все твои вещи перевезла, думаю, что так будет лучше для нас обоих“.

Удар!

– Телефон здесь найдется? – спросил он.

– Ни к чему мне телефон. И который был, я его сняла и сдала по закону.

Игнациус подмигнул со скрипом.

– А что, Анастасия Никодимовна, раз уж мы подружились, дайте мне три рубля в долг. А лучше все пять, я верну завтра, я – честный.

Старуха посмотрела на него так, будто оправдывались ее худшие предположения.

– Небогатая я, живу на пенсию, капиталов для тебя не скопила…

– Залог оставлю.

Игнациус расстегнул часы.

– Тута не лонбард!

Она бухнула дверью.

Где-то звонко тикало. Наверное, жестяные ходики с тяжелыми гирями. Игнациус хотел уже плюнуть на все и уйти, но старуха появилась опять, зажав в суровом кулаке две измятые бумажки.

– Четыре рубля здеся. И вот рубель мелочью. Не отдашь – по судам затаскаю.

– Спасибо…

– А в девять часов запруся на крюк и лягу, стучи не стучи! – крикнула старуха вдогонку.

Первый автомат не работал, второй тоже не работал, а в третьем, оледенелом по уши, выстроились унылой чередой пятнадцать длинных гудков.

Трубку сняла мать Жеки.

– Их нету дома, они ушли к Македону, вернутся поздно, кто им звонил, что передать?

– Передайте горячий привет, – сказал Игнациус.

– От кого?

– От Менделеева.

– Сейчас запишу…

У Македона телефона не было. Игнациус мороженными пальцами набрал другой номер.

– Это – я, – нервничая, сказал он.

– Добрый вечер…

– Ты меня не узнаешь?

– Хорошо, что вы позвонили, как ваше здоровье, я уже волновался за вас, – очень ровным искусственным голосом ответил Анпилогов.

– Ты что – не один? – спросил Игнациус.

– Да.

– И разговаривать неудобно?

– Да.

– Видишь ли, со мной произошла странная история, –

Игнациус вдруг осекся, потому что именно эти слова употреблял когда-то Грун.

– Я вас слушаю, – напомнил Геннадий.

– Как там на работе? Надеюсь, меня не уволили?

– М-м-м…

– Что?!

– Позавчера, – сказал Анпилогов.

– Ты серьезно?

– Конечно.

– Я сейчас приеду.

– Хорошо, я буду ждать вас завтра, прямо с утра, – очень вежливо, но непреклонно сказал Анпилогов.

Удар!

Напротив автомата была закусочная – три притиснутых столика в тусклом подвале. Игнациус взял курицу, подернутую зеленоватым жиром, хлеб и мутный кофе в кружке с отбитой ручкой.

– Стакан дать? – лениво спросила буфетчица.

– Пока не надо…

Он сел и отхлебнул коричневой жижи, которая огнем потекла в желудок. Сразу же навалилась усталость. Спать… спать… спать… Время стекало с него, как сухой порошок. Курица была совсем деревянная. Она, вероятно, сдохла в прошлом году, а перед этим долго болела и покрывалась язвами. Такая у нее была судьба. На не вытертом столике блестели разводы. Вечер в окне быстро синел и загустевал чернотой. Кажется, Игнациус куда-то проваливался. Он брел по безжизненной, кремнистой, раскаленной полуденным зноем земле, которая плоской равниной уходила за горизонт. Земля была – уголь пополам со стеклом и шлаком. Дымный нагретый воздух дрожал над нею. – Я устал, я больше не хочу идти, – хныкал Пончик, обвисающий на руке. Пожелтевшие глаза у него закатывались. – Надо идти, уже немного, – отвечал Игнациус. – Зачем надо? – спрашивал Пончик. – Затем, что будет река. – А когда будет? – Не знаю. – Ты ничего не знаешь… – ныл Пончик. Загребал сандалиями серый шлак. Почва справа от них с горячим металлическим скрежетом вмялась, будто наступил невидимый мамонт, осталась лунка метра полтора в диаметре. А затем с таким же скрежетом вмялась еще, но уже левее: попадания были неприцельные. Пончик сел на землю и скорчил плаксивую рожу. – Я дальше не пойду, – сказал он. – Тогда загнемся, – сказал ему Игнациус. – Почему? – Потому что здесь жить нельзя. – А почему нельзя? – Потому что нельзя. – Это тебе нельзя, а мне можно, – возразил Пончик. Выковырял из шлака толстое бутылочное донышко, откусил сразу половину его

и довольно захрустел стеклом на зубах. – Очень вкусно, хочешь попробовать? – предложил он. – Очень вкусно, – повторил Игнациус.

Буфетчица незлобиво толкала его в плечо:

– Давай-давай, закрываемся… Дома проспишься. Живешь-то далеко?

– Рядом, – сказал он, поддерживая чугунные веки.

На Лиговке, высвеченная снегом, шуршала людская беготня, и летали над асфальтом красные тормозные огни. Было около восьми. Голова разламывалась на дольки. У продовольственного магазина остановилось такси и вышла веселая пара. Игнациус придержал дверцу.

– Свободны? Проспект маршала Блюхера… Угол с Ведерниковой…

Он позвонил, но ему не открыли. Тогда он сказал, отгибая обивку у косяка:

– Галина Георгиевна, я знаю, что вы дома, я видел свет на кухне, откройте, пожалуйста, иначе мне придется стучать ногами.

Дверь распахнулась.

– Если будете хулиганить, я вызову милицию, – заявила мама Пузырева.

Она была бледна и решительна.

– Где Сергей? – спросил Игнациус.

– Его нет.

– Где он, я спрашиваю…

– Сережик у Вали…

Ее выдала интонация.

– Сергей! – крикнул Игнациус. В глубине квартиры что-то бренчало.

– Суд определит те дни, когда вы будете встречаться с ребенком, – ненавидя, но пытаясь остаться спокойной, сказала мама Пузырева.

Игнациус подался вперед.

– Пропустите!

– Мальчик травмирован всей этой историей…

– Какой историей? – тоже наливаясь ненавистью, спросил Игнациус.

Мама Пузырева поджала губы.

– Вам лучше знать…

Прежде, чем она успела сообразить хоть что-либо, Игнациус нырнул под ее руку и, миновав крохотную прихожую, ворвался в комнату, где, раскалываясь, гремел телевизор. Пончик тупо сидел перед экраном, расставив клопиные ножки, и жевал не стекло, а пупырчатый шоколад – щеки были в коричневой вязкой слюне. По

правую руку от него, на тумбочке, стояла полная ваза конфет, а по левую – корзинка с янтарными мандаринами.

– Здра-авствуйте, – неловко поднимаясь, протянул ошеломленный папа Пузырев.

Он был в пижаме.

– Сергей! – позвал Игнациус. А когда оцепеневший Пончик обернулся, велел ему. – Подойди-ка сюда!

Несколько секунд, тягостно вспоминая, Пончик, как на чужого, смотрел на него и вдруг залился отчаянным ревом: – А-а-а!.. – весь затрясся, будто в припадке, затопал ногами, мандарины посыпались на пол.

Мама Пузырева мгновенно подхватила его и спрятала на груди, как наседка.

– Ростик, вызывай милицию!!!..

Папа Пузырев виновато развел руками.

Тогда Игнациус повернулся и пошел обратно по своим расползшимся мокрым следам.

Удар!

Бесконечная улица упиралась прямо в чернеющий лес. Дурацкие бетонные фонари горели вдоль широкой пустоты ее. Проезжали машины. Скрипел рыхлый снег. Он добрел до метро и погрузился в огромные желтые недра. Там было тепло. Вагон слегка покачивало. Голова уходила в туман и налипшие веки смыкались. Спать… спать… спать… К себе на четвертый этаж он забрался, словно таща неимоверный груз на плечах. Ключ почему-то не отпирал. Игнациус подергал дверь и понял, что накинут крючок.

Он длинно позвонил.

– И – кто там? – минут через двадцать пять спросила старуха.

– Сосед…

– Какой сосед?

– Новый.

– Не открою!

– Почему? – через силу спросил Игнациус.

– А ночь на дворе. Откель я знаю; может, ты – шаромыжник…

– Так посмотрите.

– И смотреть не буду.

– Анастасия Николаевна…

– Вона! – обрадовалась старуха. – Имени моего не знаешь. А тот, которому въехал, я сама сказала…

– Ну, – перепутал, ну, – Ни… кодимовна…

– Все равно не открою!

– Куда ж мне деваться?

– А куды хочешь!

– Ну, я выломаю дверь.

– Ломай!

Он раздраженно дернул за ручку.

– Грабю-ют!.. Убива-ают!.. – пронзительно завопила старуха и крик ее ополоснул крышу.

Игнациус отпрянул. Будто током подбросило.

– Люди-и-и!.. На помо-о-ощь!..

Не чувствуя ног, он скатился по лестнице. В доме уже хлопали растревоженные квартиры.

Удар!

Он тащился по темной пустеющей Лиговке и боялся, что упадет – лицом на сиреневый снег. Покрепчавший мороз ощутимо пощипывал уши. Денег оставалось не больше рубля. И, по-видимому, не оставалось надежды. Метро снова разинуло перед ним свою гулкую желтую пасть. Побежал эскалатор. Игнациус явно пошатывался. Будто мячик, его перебрасывало по городу – из конца в конец. Ехать надо было на «Богатырскую», с двумя пересадками. Восемь станций, а там – автобусом до кольца.

Он опять позвонил – наверное, в сотый раз за сегодня.

Мать открыла без всяких вопросов. Она была тщательно завита и накрашена, словно собиралась в театр. Нитка кораллов пламенела на синем тяжелом платье. Сколько Игнациус помнил, она всегда была такой. Главное, не распускаться с возрастом. Тогда не состаришься.

– Простите? – подняв дугой подведенную бровь, сказала она.

– Мам, я у тебя заночую? – попросил Игнациус. Он не хотел вдаваться в подробности. – Понимаешь, дурацкий случай. Валентина уехала на три дня, а я потерял ключи. Черт его знает, где выронил, хоть на тротуаре ночуй. Ты меня не прогонишь?

– Уважаемый товарищ, – сказала мать отчетливо и громко, как она говорила с больными у себя в поликлинике. – Не находите ли вы, уважаемый товарищ, что сейчас слишком позднее время для шуток?

– Мама… – сказал Игнациус.

– Я не мама, я вам в жены гожусь.

– Но мама…

Игнациус растерялся.

– Уважаемый товарищ, – с той же веселой непринужденностью ответила мать. – Неужели вы думаете, что я не узнаю в лицо собственного сына? Я не настолько глупа.

Она коротко хохотнула.

Игнациус все понял.

– Извините, – сказал он.

– Я только прошу вас, уважаемый товарищ: второй раз

звонить не надо!

– Конечно, – сказал Игнациус.

На улице был мрак, снег и ветер. Бульвар тянулся далеко за овраг, к деревянным разметанным избам. Поперек него разворачивалось такси с ярким зеленым огоньком. Игнациус поднял руку. Но сразу же опустил. Ему некуда было ехать.

И, главное, не к кому.

Это был полный обвал.

Глава 8

Это был обвал. Мир распадался прямо на глазах. Ни к чему нельзя было притронуться. На Московском вокзале в огромном, душном, запотевшем от сотен влажных дыханий зале ожидания он нашел половину свободного сиденья, занятого холщовыми мешками. Кепастые хозяева мешков что-то недовольно бундели на своем гортанном пугающем языке, когда он втискивался. Но Игнациус не обращал внимания. Спать… спать… спать… Высохшие глаза слипались и голова из жаркого чугуна падала в темноту. Но как только она падала, Игнациус вздрагивал и просыпался. Потому что заснуть по-настоящему было нельзя. Немели затекшие икры. Каждые десять минут по радио объявляли отправление. Или прибытие. Или: «Гражданин Дибульник, вас ожидают у семнадцатой кассы»! Оловянный бесчувственный голос долбил мозг. Громыхали сцепления меж вагонов. В мешках, видимо, были кирзовые сапоги, они больно врезались пятками. Примерно через час подошел милиционер и негромко спросил, что он здесь делает.

– Встречаю, – сказал Игнациус.

– Кого?

– Поезд.

– Какой?

– С колесами…

– Документы! – сказал милиционер.

Документов, конечно, не было. Игнациус в упор не представлял, где сейчас находится его паспорт. Скорее всего, Валентина убрала его куда-нибудь в шкаф, под стопку белья. У него даже появилась мысль – сходить домой вместе с сержантом, чтобы старуха пустила, но тот мотнул жестяной кокардой – пройдемте! Под одобрительное цоканье кепок вывел Игнациуса в гулкий вестибюль, где светился один – весь стеклянный – аптечный киоск, и без лишних слов указал на высоченные уличные двери, обитые медью:

– Вон туда. А увижу еще раз – заберу в отделение.

К счастью, метро пока ходило. Игнациус перебрался неподалеку, на Витебский, и первым делом посмотрел расписание. Поезд из Краснодара, имеющий прибыть в ноль пятьдесят пять сего числа, опаздывал на шесть часов. Это его вполне устраивало. Он отстоял очередь в тесном медлительном дежурном буфете и все-таки заставил себя проглотить пупырчатую куриную ногу. Наверное, это была та самая курица, которую он уже пытался есть в забегаловке на Свечном. Она, как

наждак, оцарапала ему горло, а затем долгое время тревожно плескалась в желудке, вероятно, не желая смириться с судьбой. Но в конце концов успокоилась. Впрочем, Игнациусу было не до того.

Витебский вокзал был меньше, и людей тоже было меньше. Он ввинтился между двумя тетками в грубых платках, одна из которых, поглядев на него, сразу же пересела, а вторая цепко ухватила перевязанный веревками чемодан. – Не надо бояться, я не человек, я – призрак, – сказал ей Игнациус. Вторая тетка испарилась вместе с чемоданом. Он передвинулся на ее место и привалился к стене. В зале простуженно кашляли. Это был полный обвал. Надрывались динамики. Окна заросли бородатым инеем. Лопнули все нити, связывающие его с прежней жизнью. Он действительно, как призрак, бродил по границе небытия, разделяющей оба мира. Сумеречные тени задевали его своими больными крыльями. Шелестела сухая кровь. Четырехмиллионный город ворочался по темным квартирам, сопел в подушки, дико всхрапывал во сне, просыпался, таращился, пил из-под крана хлорную воду, ссорился, мирился, предавался любви, и не было ему дела до человека, скрючившегося в тупом оцепенении на деревянной скамейке зала ожидания.

Мы никому не нужны.

Никогда.

Никому.

Это был полный обвал.

Мир распадался на части.

Анпилогов как-то удивительно брезгливо моргал поросячьими короткими белыми ресницами. Ситуация была чрезвычайно неприятная. С работы его пока не уволили, но в ученый совет поступило заявление о том, что младший научный сотрудник А. И. Игнациус использовал в своей диссертации данные, ранее полученные Груном, сотрудником той же лаборатории. Заявитель обращал внимание на факт научного плагиата. Были приложены протоколы экспериментов Груна. Анпилогов сам произвел сравнительный анализ. Совпадение было убийственное, вплоть до отдельных фраз. В ученом совете разводили руками. Бубаев рыл землю. Сразу во все стороны. Покалеченный Рогощук требовал крайних мер. Была назначена комиссия. Факты подтвердились. Гадючник открыто торжествовал. Полетели письма в инстанции. Созоев отлеживался дома. Говорили, что его уберут – и с кафедры, и с лаборатории.

– Это, конечно, чересчур, – добавил Геннадий.

От него пахло кофе и свежим крахмалом. Жилистую худую

шею сдавливал безупречный воротничок.

– Кто написал заявление? – мрачно спросил Игнациус.

Заявление написал Жека. Он сделал это сразу же после заседания кафедры. Его нельзя было осуждать. Потому что все-таки – плагиат. А Жека висит в воздухе. Его ставку могут забрать в любую минуту. И теперь, наверное, заберут. Лично он, Анпилогов, не понимает, зачем Игнациусу это понадобилось. Материала на диссертацию вполне хватало. Предварительная договоренность? Чтобы спасти работу Груна? Лично он, Анпилогов, о такой договоренности не помнит. Нет! Не помнит! И вряд ли бы он согласился. Есть границы, которые не следует переступать. Возможно, Игнациус действительно хотел, как лучше – тогда надо было оформить соавторство. И уж, во всяком случае, посоветоваться заранее, подготовить весь коллектив. А теперь обстановка на кафедре – раскаленная. К сожалению, уже дошло до Москвы. Оттуда запрашивали. Мамакан рвет и мечет, пытаясь выяснить, кто заложил. А зачем выяснять? И так все ясно. В общем, Игнациусу не простят. Особенно после этой дурацкой выходки на предзащите. Как это могло угораздить его? Разве что Игнациус сильно болен. Болен он или нет? Выглядит он чрезвычайно плохо. Будто постарел этак лет на пятнадцать. Но ведь не болен? Тогда из института придется уйти. Других вариантов не видно. Анпилогов уже думал об этом. Он знает, что НАГИМу требуется сотрудник, владеющий цифровыми методами. Конечно, НАГИМ – не бог весть что, но если Игнациус хочет, то он как ученый секретарь института… Короче – вот ручка, бумага, пиши: «Директору НАГИМ профессору А. К. Потникову от сотрудника ВНИИМЭ заявление… «Это все, что Анпилогов пока может сделать.

Костлявое лицо его плавало в сером тумане, наполнявшем комнату. Туман был густой, липкий и, как в кривом зеркале, искажал предметы: стены были вогнутые, паркет на полу колебался, а старый письменный стол распух, словно надутый воздухом. Игнациус сжимал виски, чтобы унять в них саднящую винтовую боль.

– У тебя когда-нибудь была хоть одна знакомая женщина? – спросил он.

– При чем тут это?

Геннадий оттянул галстук и мучительно покраснел – до корней стеклянных волос.

– Ты обязательно станешь академиком, я тебе предсказываю, – искренне пообещал Игнациус.

Это был полный обвал. Раскачивались пролеты лестниц. Извивались перила и падали новые этажи. Безудержно вращались

окна. Синий звездный блеск переливался по Млечному пути. Тротуар прогибался, как будто резиновый. Жутко ломило затылок. Он не спал уже двое суток. Горький снег лежал в переплете улиц, будто город засыпали толченым аспирином. Жека был необычайно занят. Он поэтому даже взял отгул на сегодня. Македон предложил ему стереосистему за три штуки. Нечто абсолютно замшевое, только что оттуда, какой ни у кого нет. Система напоминала четыре ящика из-под картошки, криво поставленных друг на друга. Там мигало множество огоньков, змеились компьютерные экранчики и прямо в форточку, рождая глухую зависть соседей, вырывался и плыл над зимними крышами сладчайший голос Монтегю Барта – необыкновенной чистоты и силы. Звенел, резонируя, хрусталь в серванте. Сам Жека, полыхая оттопыренными ушами, тихо, радостно и любовно гладил зеленые клавиши. Губы его причмокивали от полноты бытия. Потому что теперь все умрут от зависти. Колупаев – умрет. Градусник – умрет тоже. Эритрин – окочурится, когда узнает. Гордость обладателя боролась в нем с ощущением, что его все-таки надули: можно было заплатить рублей на двести меньше. Так считала Эмма. Которая присутствовала при сем. Тебя надували, надувают и будут надувать. Потому что ты – пальцем сделанный! Эмма ядовито блеяла, маникюря ногти перед раскладом трюмо. Запах лака и ацетона гулял по комнате. Она вчера завилась в парикмахерской и еще больше походила на стриженную овцу. Игнациуса она упорно не замечала. Он прирос под стеллажами, куда, как дрова, были плотно забиты книги, и снова почувствовал, что стальные острые коготки Ойкумены легонько ощупывают сердце.

– Постарайся больше не делать подлостей, – деловито посоветовал ему Жека, перебирая кассеты. – Постарайся не делать подлостей, иначе мне будет трудно общаться с тобой…

Игнациус даже удивился.

– Кто их делает.

– Ты, – сказал Жека.

– Я?!.

Эмма настороженно выпрямилась.

– Я постараюсь, – покорно кивнул Игнациус.

– И тебе надо извиниться передо мной.

– Хорошо, – покорно кивнул Игнациус.

– При всех извиниться.

– Я – понял…

– Тогда я, может быть, тебя прощу.

Жека был чрезвычайно доволен. Он нажал кнопку и послышался звук спускаемой в унитаз воды. Вступила рок-группа

«Сортир».

Это был обвал.

– Дай мне чаю, – попросил Игнациус.

Жека даже не обернулся.

– Или хотя бы воды…

– Возьми на кухне.

Игнациус выпил целую чашку пузырящейся мутной воды, а потом произнес – раздвигая словами все ту же туманную серость:

– Я сегодня занимаюсь предсказаниями. Я предскажу тебе, как ты умрешь. Ты умрешь в возрасте пятидесяти восьми лет от сердечного приступа, который случится, когда Македон построит дачу на один этаж выше, чем у тебя…

Это был полный обвал.

Что-то кричала Эмма. Что-то визгливое, жалкое, истеричное. Махнула кровавыми вытянутыми ногтями – чашка вдребезги… Не позволю, я у себя дома!.. Его, кстати, никто не приглашал!.. И давно следует разобраться!.. Ты должен быть мне благодарен!.. Разменяться сейчас практически невозможно!.. Это лучший из того, что есть, вариант!.. Я заплатила две тысячи!.. Не подпрыгивай, пожалуйста, деньги дала мне мама!.. Разумеется. Конечно, вернешь… – и так далее, и тому подобное. Впрочем, почему – Эмма? Это говорила Валентина. Они ехали по Невскому. Автобус переваливался, как корабль, ползущий по морю. Игнациус жался рядом с ней на краешке мягкого кресла. Было жарко: солнце протекало сквозь стеклянную крышу. Уплывали назад – «Баррикада», широкий Народный мост. И Казанский собор, словно древняя птица, загребал комья снега массивными крыльями колоннады. Валентина гундосила что-то по-испански: – Дырл-дырл-дырл… – Туристы позади нее, как болванчики, дружно крутили головами. – Дырл-дырл-дырл… Пончик будет пока у моих… Дырл-дырл-дырл… Ты все равно не справишься… Дырл-дырл-дырл… Заявление на развод я подала… Дырл-дырл-дырл… Обещали сделать в апреле… Дырлдырл-ырл… Получается, что раньше никак… Дырл-дырлдырл… У них громадные очереди… Дырл-дырл-дырл… Я живу в Красногвардейском районе… Дырл-дырл-дырл… Однокомнатная квартира… Дырл-дырл-дырл… Никаких – опять или снова… Дырл-дырл-дырл… Совсем другая жизнь… Дырл-дырлдырл… Мы – чужие, разные люди… Дырл-дырл-дырл… Ну, ты меня понимаешь… Дырл-дырл-дырл… В общем, есть один человек… – Она была оживленна и говорлива. Она брызгала искренним ярким весельем. Пожалуй, она была даже симпатична сейчас: рыжие волосы, смоляные глаза, распахнутая длинноворсая шуба из ламы. Водитель автобуса, до зубов джинсовый, искоса

поглядывал на нее. Будто по частям раздевал. – Дырлдырл-ырл… Она перешла в горэкскурсбюро… Дырл-дырлдырл… В КБ ужасно осточертело… Дырл-дырл-дырл… Ей обещают зарубежные маршруты… Дырл-дырл-дырл… Надо серьезно готовиться… Дырл-дырл-дырл… Попробуем остаться друзьями… Дырл-дырл-дырл… А ты – как будто бы постарел… Дырл-дырл-дырл… Побледнел и даже осунулся… Дырл-дырлдырл… Наверное, сильно переживаешь?.. Дырл-дырл-дырл… Ты все-таки не переживай… Дырл-дырл-дырл… Теперь уже ничего не изменишь… Дырл-дырл-дырл… Обязательно позвони мне на днях… Дырл-дырл-дырл… Мы ошиблись и надо вместе исправить… Дырл-дырл-дырл… Вот тебе мой телефон… Дырл-дырлдырл… Только не потеряй бумажку…

У Лавры автобус затормозил. Туристы выходили, щурясь на близкое солнце, сквозившее меж серебряных куполов. Каждый мужчина, прощаясь, галантно целовал руку сеньоре Валентине и произносил звучный, раскатистый, но непонятный комплимент. Валентина сияла. Закуривший шофер перебирал ее всю опытным долгим взглядом. Чувствовалось, что – уже годится.

– Дырл-дырл-дырл, amada <Сноска: Amada – возлюбленная (исп.). >! – сказал Игнациус.

Повернулся и чуть не сшиб Стаса, который инстинктивно попытался закрыть себя глухой боевой стойкой. Правда, стойка была хреновая: под глазом у него размякал чудесный фиолетовый синяк, ободранная щека была заклеена пластырем, а правая – ударная – рука висела на бинтах в муфте.

– Болит? – участливо спросил Игнациус, касаясь муфты мизинцем.

– Болит, – хрипло ответил Стас.

Он явно перепугался.

– И будет болеть, – сказал Игнациус.

Стас немедленно отступил, но сеньора Валентина, быстро вклинившись между ними, уже толкала Игнациуса в плечо:

– Ты шел? Ну, – и иди себе…

Это был полный обвал.

Игнациус брел по серому, бесконечному, прямому как стрела, ледяному, заснеженному проспекту. Шелестели пустые автобусы, пролетая к метро. Комковатые тени пересекали тротуар. Ветер сдувал с крыш метельные загнутые хвосты. Я больше не могу, думал он, трогая пылающий лоб. Я даже не уверен, что люблю ее. Я боюсь уйти в Ойкумену и боюсь оставаться здесь. Я не могу. Я потерял все, что у меня было. Это слишком много для одного человека. Нельзя жертвовать сразу всем. Кольцо Мариколя оберегает мою жизнь, но не мою судьбу. Я теперь никто.

Интересно, если я выброшусь с десятого этажа, оно спасет меня? Он знал, что не выбросится. Вечер полосовал лицо хрупкой морозной пылью. Ужасно болела голова. Два чуждых друг другу времени сталкивались в нем и раздирали сознание, перемешивая мир, как в калейдоскопе. Путались причины и следствия, события сплетались в бессмысленный клубок, где невозможно было понять, что происходило раньше, а что – теперь.

Одряхлевший Созоев крикнул в живую дышащую темноту портьер:

– Мара! Принеси нам чего-нибудь!

Появилась неизменная ваза с печеньем. Игнациус, как и в прошлый раз, сгреб целых шесть штук и начал жевать, мучительно наслаждаясь сладким песочным тестом.

Пальцы у него постепенно отогревались.

Все равно – это был обвал.

– Я, пожалуй, верю вам, – задумчиво произнес Созоев. Он скрестил пухлые белые ладони на животе. – Конечно, звучит это предельно фантастически, но кое о чем мне намекнул Федя Грун перед тем, как исчезнуть, правда, самые крохи – так ведь я ученый, я привык создавать целостную картину по отдельным разрозненным фактам. Скажите, Саша, вы его там случайно не видели? Нет? Очень странно. По законам невероятных совпадений, вы должны были обязательно столкнуться с ним. Причем, в самый кульминационный момент. Это было бы очень логично. А природа любит внезапную логику. Сколько это субъективно продолжалось?

– Час или немногим больше, – неудержимо проваливаясь в сон, сказал Игнациус.

– А вернулись вы через шесть суток. М-м-м… Замедление времени почти в полторы сотни раз. Очевидный хроноклазм. И у вас нет провалов в памяти? Вы отчетливо помните всю цепь событий? Да, это не артефакт, не рыбий ложный мир, создаваемый больным воображением. За шесть дней беспамятства вас бы несомненно задержали. – Он откинулся в тень из круга настольной лампы. – Отдыхайте, Саша, вы совершенно измучены. А кольцо Мариколя у вас с собой? Любопытное колечко, на вид самое обыкновенное… – Созоев чуть-чуть помолчал. – Знаете, Саша, я не пытаюсь дать Ойкумене какое-либо рационалистическое обоснование. Вероятно, оно и не требуется. Тут, разумеется, можно выдвинуть ряд красивых гипотез – к сожалению, чисто умозрительных, – можно построить великолепную теоретическую конструкцию о взаимном балансировании миров на весах Времени или о Вселенной, вывернутой наизнанку, где само Время незыблемо, а

Пространство имеет вектор движения, прокалывающий его… Я не стану этого делать. Я скажу вам другое. – Он, еще больше откидываясь, восторженно всплеснул руками. – Я вам завидую, Саша! Нет-нет, не перебивайте! Я, конечно, величина в нашей области, у меня есть несколько интересных работ, моя монография переведена на девять языков и готовится второе издание, на меня ссылаются, меня постоянно цитируют… Если честно, то – ерунда все это… Труд, труд и труд. Ежедневный труд. Железная самодисциплина… Я бы все отдал, лишь бы рядом сейчас была не Мара, а совсем иная женщина. Иная, забытая, запрещенная к воспоминаниям… Человек не может без любви. Отверженность – это удел гигантов. А я не гигант, Саша. И вы тоже не гигант. Я говорю это вам совершенно искренне и определенно…

Он притиснул короткие руки к груди. И вдруг замер – разглядывая что-то невидимое.

– Мне негде жить, – вяло, из теплой тяжелой дремы, сказал Игнациус. – Я сейчас вернусь домой и окажется, что меня выселили, как тунеядца. Или старуха уехала в деревню и заколотила квартиру. Или сгорел весь этот проклятый дом. У меня нет денег, я два дня ничего не ел. Кроме куры, которая до сих пор шевелится…

– Ну, это просто, – махнул ладонью Созоев. – Переночуете у меня, завтра что-нибудь придумаем вместе.

Он исчез за портьерой, и шаги его сразу затихли. Навалилась горячая душная дьявольская тишина. Страшно пялились окна. Паутинные шорохи летали по кабинету. С другого конца земли доносились невнятные пререкающиеся голоса. Передвинули мебель. Свалилось что-то громоздкое. Конечно, было неудобно ночевать здесь. Но куда еще идти? Игнациус не мог пошевелиться. Лампа выхватывала открытую книгу и ворсистый малиновый полукруг на ковре. Глухо били часы. Наверное, в Ойкумене. Очень тонко пищала кровь, стиснутая в висках. Опять передвинули мебель. Жизнь иссякала. Хотелось проснуться и чтобы все стало, как раньше. Изменить ничего уже было нельзя. Сдавленный протяжный хрип, как питон, выполз из мрака. Он тянулся без конца, на одной нечеловеческой дикой ноте, и в нем была боль, которая отделяет душу от тела. Комната вдруг опрокинулась. Игнациус слепо шарил по обоям в коридоре. Где тут у них выключатель?.. Ни черта не видно!.. Что за дурацкая привычка гасить свет?!. Ба-бах! – ударила случайная дверь. Была спальня, и была разоренная пустая кровать, и валялась у входа заломленная подушка, и был опрокинутый таз, и чернилами растекались две лужи, сплетая щупальца, и махровое полотенце

свисало с обвода стола, и смертельно разило лекарствами, и торчали из кресла-качалки венозные босые ноги, и Созоев опять прижимал ладони к груди, и рубашка на нем была напрочь расстегнута, и отставшая прядь волос приклеилась у него на лбу.

– Уже все, уже все, уже все… Не пугайтесь, Саша, со мной бывает в последнее время…

Марьяна ставила чашку на круглый поднос. Обернулась, и глаза ее просияли. Игнациус даже не понял, что она сделала: что-то очень короткое, какой-то неуловимый жест – но он сразу же вдруг очутился в прихожей, а затем на лестнице, держа в охапке свое пальто.

Тихо щелкнул замок.

Это был хаос, обвал, распад материи. Ойкумена ни на секунду не отпускала его. Скрипел оседающий под ногами снег. Черный купол в пожаре звезд медленно поворачивался над ребристыми крышами. Впереди была набережная незнакомой реки: гранитные столбики в шапках, оснеженная вязь перил между ними, а на другом, приземистом, берегу – убогие, занесенные по самый шифер, дощатые длинные бараки. Наверное, склады. Скукой и запустением веяло от них.

Игнациус остановился, как вкопанный.

Еле различимая табличка белела над подворотней. «Сонная улица 12» было начертано на ней.

– Нет! – сказал он.

Быстро пересек улицу и рванул дверь телефона-автомата. Выудил из кармана номер, который дала ему сеньора Валентина. К счастью, бумажка не потерялась.

– Слушаю, – тут же ответил Стас.

– Приезжай и забери кольцо, – испытывая ненависть к самому себе, процедил Игнациус.

Стас пресекся.

– Отдаешь?

– Да.

– Точно?

– Ты же не глухой, дубина!

– Стой на этом месте и никуда не уходи! – волнуясь, крикнул Стас.

Игнациус бросил трубку.

Кончили! Хватит!

С него достаточно!

Что-то изменилось вокруг. Что-то с освещением. Зеленоватое радостное сияние озарило снег. До мельчайших подробностей проступили – трещинки на стенах, белое нутро сугробов, подагрические деревья в саду.

Он поднял голову.

Высоко над спящим городом, – бесшумно, точно в сказке, – напоминая о несбыточном, сыпался яркий звездный дождь.

Глава 9

Ойкумена пылала с четырех сторон. Горела Соленая Гавань, где отряд Жукоеда разгромил портовые кабаки и разбил бочки с янтарным рыбьим жиром. Горел квартал Уродов, который подожгли сами жители – одноногие, безухие или слепые обитатели городского дна. Жарко трещали склады сукна в Казенном ряду – пламя раскинулось воющей стеной, и звероватые шишиги, выползшие из притонов, тащили узлы с награбленным. Величаво, грозно, торжественно перекатывал коричневые барханы дыма плоский Тараканий Чертог на Гниловодье, продолговатые искры, шипя, стреляли через парапет в зловонную сукровицу канала. Дул горячий ветер. Огненные клубы, испепеляя одним прикосновением, бродили по улицам. До небес вздымались хлопья тяжелой копоти. Шершни-убийцы, как вертолеты, гудящие над головой, задыхались в ней и шлепались на мостовую, ломая перепончатые слюдяные крылья. Багровая мгла окутала город. Люди ныряли в нее и растворялись без следа. Красный надрывный зрачок луны, словно приклеенный, висел над Башней. Валялась пустая хитиновая скорлупа – это Медный Палец прошел по Галерее, беспощадно вырезая дозорных. Зловеще и тихо светились в обморочных переулках пурпурные иглы чертополоха. Чертополох цветет, если корни его напитаны кровью. Без четверти двенадцать, когда с шестигранника Башни упали девять гулких звенящих ударов, Громобой и Палец пошли на приступ Чертога и были отброшены копейщиками из дворцовой охраны – откатились, устилая холщовыми рубахами булыжник перед дворцом. – Вперед!!! – заглушая рыдающий вой огня, неумолимо ревел Экогаль. Четверо телохранителей – здоровенных, тупых, привычно-озлобленных деревенских парней, одетых в мелкую кольчугу до колен – окружали его, а тонконогие, как гончие псы, адъютанты переминались кучкой в ожидании приказов. Ордена и золотые перевязи сияли на их нетронутых мундирах. – Милорд, пошлите туда птицеглазых, – мучаясь, сказал Игнациус. – Вперед!!! – по-слоновьи ревел Экогаль. Серые толпы, ощетиненные топорами и дрекольем, снова двинулись на ворота. – Наследник с нами!.. Наследник Мариколя!.. – то и дело выкрикивали из колонн. Игнациус замечал, как при этих криках перешептываются офицеры, как бледнеет от ярости лицо Экогаля, как он кусает твердые губы и решительно, гневно стискивает фигурную рукоять меча. – Милорд, пошлите туда птицеглазых… – Личная дружина герцога, закованная в панцири и кольчуги, отливая синевой щитов, стояла на безопасном расстоянии и

желтые квадратные штандарты с вышитым глазом орла гордо реяли над ней. – Я вас умоляю, милорд… – Серые толпы в панике катились обратно. Медный Палец, крутясь, как щепка в водовороте, пытался остановить их. Его быстро смяли. Оглушительно разрывались пороховые горшки. Арбалетчики, невидимые в узких бойницах, выкашивали целые ряды бегущих. – Мужичье, воевать не умеют, лапотники, – презрительно сказал Экогаль. Адъютанты почтительно засмеялись. Тогда Игнациус стиснул зубы и, спотыкаясь на деревянных ногах, побежал через пузатую площадь, испятнанную буграми распластанных тел. Он задыхался от копоти: воздух сгорел до пустоты. Но он высоко поднимал руку с кольцом, чтобы его узнали. Скорпион, как звезда, сверкал в багровом пульсирующем мареве. – Наследник!.. Наследник с нами!.. – Десятки прицельных глаз уперлись в него, стрелы звякали о булыжник, рвануло манжету на рукаве – сзади уже нарастал грозный камнепадный топот. Холщовые рубахи, дохнув резким потом, обогнали его. Оглянувшись, он увидел, что стремительный синий клин, будто облако, приближается к Чертогу. Экогаль все-таки двинул туда птицеглазых. Значит подействовало. Мародеры! Насильники! Игнациус отскочил. Крутобокая бомба жахнула по земле и шипящая чугунная смерть распорола воздух. Он упал, его подхватили. Ворота были сбиты с опор. Перемешанные отряды хлынули на широкое дворовое пространство. Брызнули стекла первого этажа. Покачнулась и рухнула в бассейн рогатая статуя Жука-самодержца. Все было кончено. – Мариколь!.. Мариколь!.. – раздавалось повсюду. Игнациус отталкивал жалкие мозолистые ладони, тянущиеся к нему за благословением. Все было кончено. Еще отчаянно рубились разрозненные звенья стражи – не прося пощады, зная, что пощады не будет, еще чадили сцепленные телеги, под прикрытием которых Громобой подошел к Чертогу, еще, поскрипывая, вращалась на сорванных петлях лепная половинка ворот, еще пищали гусеницы на мозаичном полу – корчась в судорогах, истекая творожистой лимфой, еще визжал приколотый к панелям прыщавый юнкер-бананоед, и начальник дворцовой охраны, топорща хитиновое крыло, еще вяло, со слабеющей силой отмахивался коротким мечом, еще забегали вперед телохранители, расчищая дорогу, принимая случайные стрелы – на себя, еще задушенно хрипели в ответвлениях коридоров, еще метались по картинным лаковым залам перепуганные горничные и лакеи, еще дымилась подожженная крыша и медным басом лупил набат на пожарной каланче – но все уже было кончено. Взбудораженный Экогаль, ухватив за клинышек бородки старого таракана в лиловом придворном камзоле, расшитом золотом,

возил его по зеркальному паркету.

– Где Фукель?.. Говори, скотина!.. Где Цукерброд?.. Где мерзавец Лямблия?..

У таракана тряслись свекольные щеки и брызгала слюна из распахнутого ужасом фиолетового рта. Он едва выговаривал мутные фразы. Тайный Верховный Совет бежал… объявлен Звездный Интердикт… Его Святейшество наложили запрет на вход в Башню… погашены все три Радианта… ждут подхода туземцев и гвардии… праздник отменен… посланы гонцы на края Ойкумены к диким племенам тарантулов… не убивайте меня, милорд… я буду верно служить вам!.. – Экогаль бросил его и пнул ногой. – Эй, кто там? – закройте двери. Пошевеливайтесь! Мне – вина!.. – Адъютант развернул перед ним полотняную цветную карту города. Зажгли десятирожковый подсвечник. Восковая сушь изжелтила лица. Экогаль, склонясь у карты, выставил железные шипы на локтях. – Удержать Гавань… корабли… Один батальон… Арсенал… это – главные силы… Прежде всего – Арсенал… Городские заставы… Чертог… Казначейство… Среди сенаторов много оборотней… Клятва нового магистрата… Тарантулы боятся кипящей смолы… Хюммель! Как со смолой?.. – Человек послан, милорд!.. – Смена караулов… Тюрьма… Затопить лабиринт… А фаланги боятся беркутов, которые выклевывают им глаза… Хюммель!.. – Десять ручных беркутов, милорд! Сторожит Птах, сокольничий вашей милости!.. – Экогаль жадно прихлебывал горячее сардэ, заправленное специями. Игнациус без ног лежал в кресле. Он был полностью измочален. Хилый дрожащий кузнечик подал ему на подносе курящуюся паром фарфоровую чашку. Он отмахнулся. Небо сочной зеленью светилось над багровым туманом Ойкумены – шелестел звездный дождь. – Надо пробиваться в Башню, пока там не опомнились, – устало сказал он. (Экогаль с досадой пожал плечами). – Один хороший удар и мы – там. (Экогаль иронически хмыкнул). – Дайте мне птицеглазых, я протараню вам путь… – Идет гвардия, – ответил ему Экогаль, не разгибаясь. – Идут полчища тарантулов, идут сонмы ядовитых фаланг, это вы понимаете, сударь? Под городом два гнезда ос, сейчас их отпугивают пожары – но что потом?.. – У него болезненно дергалась щека. Один из адъютантов прошептал за спиной Игнациуса: – Сударь, вы сидите в присутствии его светлости. – Ну и что? – удивился Игнациус. Офицер тонко улыбнулся подстриженными усами. – Это не полагается по этикету, сударь… – Идите вы к черту, – сказал Игнациус. Взял с подноса горячую чашку и немного отпил. Наперченное вино обжигало. – Милорд, дайте мне отряд Жукоеда; наконец, дайте мне просто две сотни

из ополчения, мы нанесем удар в самое сердце!.. – Он не слышал себя. За окном шумел целый лес голосов. – Наследник!.. Наследник с нами!.. – Экогаль раздраженно выплеснул остатки вина в камин. – Эй, кто там? Выставить охрану у подвалов с королевской казной! Все разграбят, мужичье сиволапое!.. – Лиловый таракан ползал перед ним и хватал за глянцевые сапоги, норовя поцеловать носок. – Жизнь!.. О, только жизнь, милорд!.. – но вдруг осмелев, просвистел что-то снизу вверх: неразборчивое, быстрым дыханием. Экогаль замер. – Ну да? Ну, если соврал! – Обернулся к портьере, застилающей половину громадного резного окна, слегка покачался на каблуках, видимо, предвкушая, и одним властным движением сорвал ее. – Ах! – Невысокий грушевидный человек в пестром костюме арлекина прижался за занавеской. Он даже не пошевелился, оцепенев зрачками на мучном лице. – Гусмар! Названный брат мой! – радостно воскликнул Экогаль. – Какая встреча!.. Брось кинжал, червяк, я же в латах, или ты забыл наши детские игры? – Кинжал стукнул о дерево. Подскочили очухавшиеся адъютанты. – Злодейское покушение!.. Разрешите, я прикончу подлеца!.. Вы не ранены, милорд?.. Какое счастье!.. – Заткнитесь, – сказал им Экогаль, любовно разглядывая Арлекина. – А я, признаться, думал, что ты сбежишь вместе с Тайным Верховным Советом. Или тебя не взяли, Гусмар? Предателей не любят. Есть все-таки справедливость в этом мире! Я повешу тебя на площади с барабанным боем – ты теперь дворянин. Уведите его!.. – Двое вытянутых офицеров приняли под руки бледного, как мел, обомлевшего, не дышащего Арлекина, который так и не проронил ни единого слова. За окном неожиданно грянуло: – Моя милашка милее всех! У ней рубашка короче всех!.. – Сермяжное воинство расползалось в пьяном угаре. – Если вы, милорд, не дадите мне людей, то я пойду один и сам переведу стрелки, – с тихим бешенством, приподнимаясь, сказал Игнациус. На часах было без десяти полночь. Экогаль обратил к нему крупное бритое лицо в разводах черной пыли. – Не забывайтесь, сударь. Командую здесь все-таки я!.. – Он ощерился, показав лошадиные зубы. Мощно отпихнув караульных, в залу ввалился Громобой – истерзанный, волосатый, забрызганный кровью по кожаной куртке ремесленника. В немой ярости разевал пасть. Щурясь на него, Экогаль, будто приняв некое решение, лениво опустился в кресло и отхлебнул вина. – Я вас слушаю, друг мой, – приветливо сказал он, поведя ладонью. Громобой задыхался. – Ваши люди, милорд… Они убили Бобра, они арестовали Вертлягу и Коршуна, они ставят своих офицеров командовать нашими отрядами, они разбили в подвалах бочонки с брагой и опаивают моих мужиков, сейчас они намереваются

повесить Лисицу, который первым ворвался в Чертог!.. – Громобой дернул на груди истлевшую рубаху и вытащил из-за пояса грубый помятый свиток с печатями. – Вот ваши привилегии, написанные вашей собственной рукой, милорд! Я плюю на них! Я увожу своих собратьев из города и меня больше не обманут никакие ваши посулы и обещания!.. – Он повернулся и прорычал на телохранителя, загородившего двери: – Прочь с дороги!.. – но тут же странно крякнул и попятился, как сумасшедший, нелепо размахивая руками: а-а-а… – сел в камин на груды угля и пепла. Из горла его, в розовой ямке между ключицами, торчала рукоять ножа. – Вы с ума сошли, – одними губами сказал Игнациус, потому что отчетливо прозрел вдруг свою судьбу. И действительно, трое других телохранителей мгновенно зажали его в плотные жесткие тиски – не шелохнуться. – Что это значит, милорд?!. – Вы мне мешаете, – мельком ответил Экогаль, изучая карту. – Вы слишком популярны среди черни. Наследник!.. Плохо, когда на одном теле сразу две головы. Хотите вина? Не беспокойтесь, сударь: посидите в подвале, подумаете… Кольцо Мариколя охраняет вашу жизнь, но не вашу свободу. – Длинным змеиным шипением закатился очнувшийся Арлекин. Он смеялся, надувая толстые губы. – А вы думали, сударь, что герцог и в самом деле намеревается повернуть Звездный Круг и разрушить Ойкумену? Вы наивны, сударь… Кем он тогда будет управлять, где будет его империя? Нет, сударь, герцогу нужна власть и только власть – люди, насекомые, – ему все едино. – У него текли через пудру бессильные жалкие слезы. Грушевидное тело заколыхалось. Экогаль взял его за пышные сборки воротника так, что материя затрещала. – Ты умен, Гусмар. Ах, как ты умен… Я хоть сейчас назначил бы тебя своим сенешалем. Но ты слишком умен, чтобы оставаться в живых, – глаза его стремительно расширились: приседая и мучаясь, в дверях привалился распаренный Жукоед и с трудом выталкивал из горла сипящий перегоревший воздух. – Мы разбиты, милорд!.. Мой отряд разбит!.. Гвардия вошла в город!.. Мужики бегут!.. На улицах резня!.. Нет сил удержать!.. Спасайтесь, милорд, пока это возможно!.. – Жукоед был всклокочен, в космах его застряли репьи. А вдоль скулы протянулась кровавая свежая рана. Игнациус почувствовал, как ослабли сдавившие его мускулы. Пороховой высверк внезапно покачнул здание, вылетели свинцовые рамы, пугающее каменное ядро вкатилось в залу из багрового уличного полыхания. – Проклятье!.. – звучно сказал Экогаль и блестящим полукругом меча разрубил инкрустированный столик…

Все действительно было кончено. Огненный туман струился

по улицам Ойкумены. Рыхлые перья пожаров метались в нем. Закручивалась столбом ядовитая черная пыль. С шумом ложились волны искр на плоских крышах Чертога. Игнациуса толкали со всех сторон. Он боялся упасть. Густое людское варево, перемешиваемое паникой и отчаянием, кипело на площади. Хлестали по глазам вытянутые руки. Орали волосатые рты. Горячий пепел сыпался с неба. Он спотыкался на расплющенных мятых телах. Колебалась земля и карусель искаженных лиц опрокидывалась на него. Танцевал канкан свихнувшийся писарь с гусиным пером в патлах. Грязные пятки утонувшего торчали из бочонка с брагой. Двое ремесленников, тряпично-пьяных, голых по пояс, бессмысленно резались на крохотном пятачке между телегами, видимо, сводя старые счеты. Экогаль, как бешеный мамонт, ревел в самое ухо. – Надо пробиваться в Гавань!.. Ждет каравелла!.. Команда – верная!.. Мы переплывем Море Мрака, омывающее Ойкумену… И затеряемся среди тысяч коралловых островов на другой стороне ночи!.. Мы еще вернемся!.. – Игнациус еле выдрался из-под костяных пальцев. – К черту! – Над хлопьями дыма, над облаками черной пыли, застилающими город, стрекотал яркий зеленый дождь. Толпа разъединила их. Экогаль все ревел и тянулся, безумно оскалясь. – Убейте!.. Убейте его!.. – Телохранители, заламывая ему руки назад, тянули прочь. Легли поверх голов первые раскаленные стрелы. Площадь завыла. Игнациус, выдавленный на чугунную тумбу у ветхих домов, видел, как из конца улицы неумолимо надвигается закованная в хитин, расцвеченная бликами пожара, вороненая сплошная стена гвардии. – Вжик!.. Вжик!.. Вжик!.. – При каждом шаге богомолы выбрасывали перед собой страшные зазубренные пилы. Кто-то ухватил его за рукав и стащил вниз. – Надо выбираться отсюда, держитесь за меня, я вам помогу, сударь!.. – пискляво прокричал Арлекин. Игнациус пихнул кулаком отвратительную сдобную рожу. – Продадите Фукелю? Да?.. – Деваться было некуда. Их с неимоверной силой прижало к стене. – Вжик!.. Вжик!.. Вжик!.. – падало на площадь. Арлекин совал ему под нос жеваный клочок бумаги. – Звездочет… обязательно передать… последняя наша надежда… – В багровых сумерках Игнациус едва разобрал каракули: «Александр, пробивайся к Башне, дорога каждая секунда. – «-И знакомая, жирно обведенная подпись: «Федор Грун. – «-Грун? – ошеломленно сказал Игнациус. – Звездочет, сударь, – объяснил Арлекин. – Грун?! – Это Персифаль, сударь. – Грун!!. – Поспешим, сударь, – сказал Арлекин и буквально клещами выдернул его из толкотни под какую-то низкую арку. – Верьте мне, верьте. Есть ходы, о которых важные господа не знают: есть кухни, есть дворницкие, есть черные лестницы, куда

не заглядывает даже ночная стража… – Они протиснулись в узкую каменную щель и оказались на параллельной улице. Улица была безжизненная, словно нарисованная на холсте: малиновая пленка облегала дома и выше заколоченных ставен взметывались из утрамбованной земли мясистые листья чертополоха. Мутно светили трехпальчатые фиолетовые цветы. – Замрите, сударь, – шепнул Арлекин. Через покатое плечо его Игнациус видел, как еле звеня по булыжнику быстрыми копытами, чрезвычайно легко, будто призраки, пронеслась над мостовой кучка всадников в развевающихся длинных плащах – человек десять, не больше – и растаяли в густом огневище. – Милорд Экогаль, сударь, – прошептал Арлекин, странно улыбаясь. – В прошлый раз ему помог спастись сам Фукель. Не удивляйтесь: Фукелю нужен реальный и сильный враг, чтобы противопоставлять его насекомым. Он же знает, что Экогаль не собирается разрушать Ойкумену. – А разве Фукель – человек? – спросил Игнациус. – Конечно, сударь. Насекомые не способны править самостоятельно. – Все равно я вам не верю, – сказал Игнациус. Они пролезли сквозь сухую траву, меж колючими толстыми стеблями и долго бежали по скудно освещенным то земляным, то дощатым, то облицованным сырым неотделанным камнем узким извилистым путаным переходам с угрожающими потолками, прыгали в невероятные лазы – подсаживая друг друга, карабкались из тесных тупиков на следующий ярус.

Игнациус потерял всякое представление о том, где они находятся. Капала вода. Сыпался древесный мусор. Задавленно пищали крысы под живыми сгнившими половицами. – Скорее, скорее, до полуночи всего три минуты, – задыхаясь, шипел Арлекин. В желтых щелях неожиданно открывались захламленные чуланы, кладовки с крупой и банками, длинные пеналы, завешанные дряблым бельем, страшноватые пахучие кухни, в которых какие-то полуодетые люди, отдуваясь и ухая, швыркали чай из блюдец, поставленных на растопыренные пальцы. В одной из них Игнациус с изумлением обнаружил Валентину: поддергивая пышные кринолиновые юбки, она сердито отчитывала пожилую женщину в переднике, горько стоящую перед ней. – Прау Жужелица, – бросил через плечо Арлекин, – самая злобная из мегер, близка Фукелю. – Валентина сгинула. Словно не было никогда. Щели кончились. Коридор пошел вверх и распахнулся мраком, о необъятности которого свидетельствовало гигантское эхо шагов. Арлекин ступил на железную винтовую лестницу без перил, уходящую куда-то во тьму, под купол. – Мы в тайниках Башни, сударь. – Игнациус поднимался вслед за ним, судорожно балансируя

расставленными руками. Оказывается, победить очень просто, надо только решиться, подумал он. Надо решиться, и тогда ничего не страшно. Лестница мелко дрожала. Спицы лучей протыкали гулкую темноту и в постепенном истаивании их чувствовалась безразмерность пространства. Забил крыльями голубь – далеко, в слуховом окне. Железные ступени уперлись в известковую кладку. – Перстень, сударь! – Игнациус приложил кольцо Мариколя и скорпион засиял. Кованая дверь отошла с протяжным вздохом. Звездная прозрачная зелень хлынула оттуда. – Зажмурься, – шепнула Аня, – можно ослепнуть, это – Камера Дев. – Теплая рука осторожно потянула его. Щурясь от быстрых уколов, он искал знакомые губы. – Осталось пятьдесят секунд, – простонала Аня, откидываясь. – Ты безоружен, возьми вот это. – Игнациус сдавил рифленую рукоятку. Заскрипели ржавые петли. Целым букетом ахнули снаружи визгливые голоса. Высверлила уши тревога. Звонко столкнулся металл. Точно буря, обрушились отовсюду гудящие рубящие удары. Сквозь туманные уколы звезд Игнациус различил надвигающиеся на него хитиновые пилы и отточенные резцы жвал. Он заехал кинжалом. Богомол опрокинулся. Кажется, это был Стас. В суматохе не разобрать. – Звездочет ждет нас! – тянула его Аня. Глаза привыкали. Богомол лежал ничком, так что лица видно не было. Пара жуков-стражников шевелила лапками, вероятно, в агонии. Тихо оседал распластанный по стене Арлекин и короткое пестрое древко торчало у него между лопаток: – Ойкумена должна погибнуть… – Они помчались наверх, перепрыгивая через ступеньки. Игнациус царапал спекшееся горло ногтями. Впереди была еще одна кованая железная дверь. Также запертая, массивная, неприступная. Витиеватый иероглиф, как неоновый, пылал на ней. Стрелы шлепались справа и слева о шершавый камень. Было странно, что до сих пор не задели. Он безуспешно дергал литую старинную ручку из бронзы. Так и этак. Перстень здесь почему-то не помогал. – Печать Гнома, – сказала Аня. – Гном воздвиг Ойкумену, потом его отравили. – Игнациус поддел иероглиф и сорвал его. – Нарушивший печать Гнома потеряет все, – глухо сказала Аня. – Посмотрим, – невнятно ответил он. Ручка стукала, как будто стреляла. Дверь все равно не поддавалась. Как мертвая. Снизу приближался противный крутящийся визг. – Поцелуй меня напоследок, – жалобно попросила Аня. Игнациус поцеловал. Аня достала из выреза крохотный золотой флакончик. – Это – зернышко маллифоры, настоянное в вине. Оно дает забвение. Ты снимешь перстень и мы уйдем вместе. Бедный отец… – Остатки иероглифа корчились, словно огненные змеи. Скрежет когтей затопил лестницу. Дверь

вдруг начала медленно, очень медленно отворяться. Изможденный старик в балахоне и островерхом двухцветном бархатном колпаке возник на пороге. – Пришли? – Старый добрый Персифаль, – сказала Аня. Наклонилась и поцеловала его пергаментную руку. Дверь легко закрылась за ними. – Кольцо при вас? – прошамкал старик. – Да, – сказал Игнациус. – Да! – Идемте… – Они поднялись в круглую комнату, где предметы угадывались только по их лунным очертаниям. На столе, заваленном свитками, книгами и причудливыми инструментами, жужжала сфера из семи планет. – Ты все-таки пришел, Александр, я уже отчаялся ждать тебя, – опершись о нее, сказал старик. – Грун? – неуверенно спросил Игнациус. Нечто странно-знакомое было в костяных, отбеленных возрастом, заостренных чертах кривоватого слепого лица. – Природа любит внезапную логику, – пробормотал он. – Что? – спросил Грун. – Это я – так… – Грун, схватившись за сердце, с трудом перевел дыхание. – Надо торопиться, Саша, я очень болен и мне осталось совсем немного. – Он опять с трудом перевел дыхание. – Легенда гласит, что запустить ход времени в Ойкумене может лишь человек из мира людей, которого полюбит мадонна, обручится с ним и отдаст ему перстень короля Мариколя. – Я люблю его, – тут же сказала Аня, – прости меня, бедный Персифаль. – Она вся дрожала. Огромные медные шестерни стучали над ними, поворачиваясь с каждым стуком на один зубец. Маслянела пружина. Свисали огромные цепи. Грун отчетливо щелкнул пальцами и раздвинулись створки на потолке. Ожерелье из крупных угловатых звезд мерцало в глубокой черноте над дымящейся Ойкуменой. Даже не верилось, что бывают такие чудовищные крупные звезды. При космическом, неземном свете их Игнациус увидел длинные стрелки часов: они показывали без минуты двенадцать. Он снял с безымянного пальца кольцо Мариколя и поднял его. – С этой секунды ты становишься смертен и уязвим, – сглатывая на каждом слове, слабо предупредил Грун. Игнациус отмахнулся. Кольцо легло точно на часовую ось. Что-то заскрежетало, сцепилось и тронулось внутри старинного механизма. Звякнул дугообразный анкер. Громовой удар до основания потряс Башню. Прокатилось землетрясение. Шатались пол и стены, сыпался потолок, разворачивались свитки с дикими нечеловеческими письменами. Казалось, они проваливаются в преисподнюю. Грун, хватая ртом воздух, лежал в деревянном кресле. – Тебе плохо? – спросил Игнациус. – Нет, просто я умираю… – Три… пять… семь… – грозно отбивали куранты. Игнациус прижал к себе Аню. – Значит, все правда, значит, мы победили, – шептала она. – Девять… десять…

одиннадцать… – Сдвинулся целый мир. Комната вокруг них тряслась и стонала. Звезда за звездой рушилась изнанка Вселенной. Треснул упор часов, посыпались шестеренки. Натянулась и дернулась кверху железная цепь. Раскатились колесики. – Полночь! – Ослепительно и больно, бриллиантами миллионов огней засиял Звездный Круг над их головами. Вдруг – лопнул. Все закрутилось. Совместились горячие недра времен. Ойкумена погибла и снова вынырнула из пучины. Проявился какой-то трепещущий свет. В последний момент Игнациус заметил, как, взмахнув крыльями балахона, проваливается в багровую черноту остекленелый Грун и как, начиная с флагштока, словно от удара молнии, медленно и страшно расщепляется пополам суставчатая Башня Звездочета.

Глава 10

Я расскажу все, как было – ни о чем не умалчивая и ничего не добавляя от себя.

У нее имелась отвратительная привычка: когда она пила, то обязательно стукала чашкой о блюдце. Звук был очень противный – холодный и резкий. Будто стукал один фарфоровый зуб о другой. Игнациус заранее напрягался. Невозможно любить женщину, которая так стукает чашкой.

Вообще невозможно было любить.

– Я вчера не слышал, как ты пришла, – раздраженно сказал он.

Аня выпрямилась и хрустнула пальцами. – Мы ходили в театр, – сказала она.

– Кто это – «мы»?

– Весь отдел.

– Двадцать восемь человек?

– Ну, конечно…

И она покраснела. Она не умела врать.

– Ты не умеешь врать, – сказал Игнациус. – Впрочем, теперь это – все равно. Был скандал с Горгоной, что не запираем дверей. Она будила меня четыре раза. До трех ночи. Я же просил тебя…

– Я ходила в театр, – упрямо повторила Аня. Звонко стукнула чашкой и спохватилась. – Пожалуйста, извини… Как ты думаешь, могли бы мы поменяться? Комната на комнату. Или еще как-нибудь? – Она придавила мизинцем синеватую дрожащую жилочку на виске. – Вчера Горгона выдумала, будто я отсыпаю у нее манную крупу из шкафчика. И повесила амбарный замок. А сегодня ворчит, что ночью у нее откусили половину котлеты.

– Порядочные девушки не жрут по ночам чужих котлет, – сказал Игнациус. – Порядочные девушки возвращаются домой, как положено. И заботятся о семье. – Он запнулся. – Ну что ты на меня смотришь?

– Ой, забыла, забыла!.. – воскликнула Аня.

Чрезвычайно легко поднялась и выбежала из комнаты. Чрезвычайно легко и чрезвычайно поспешно. Игнациус даже, не выдержав, застонал. В свою очередь, тоже поднялся и дернул разбухшую форточку. Ворвалось бормотание, ударило мокрым снегом. Утро наступало пронзительное, ветреное, сырое – в грохоте обрывающегося льда и в шипении мутной, летящей с поребрика крыш, обезумевшей, талой воды. – Тс-тс-тс, – сказал он себе. Потому что накатывало обычное бешенство. Комната была узкая, тесная, и жить в ней было совсем невозможно. Вообще

невозможно было жить. Голая лампочка надрывалась над клеенчатым липким столом, где – которые сутки уже – засыхал в хлебных крошках изогнутый ломтик сыра. Он терпеть не мог сыр. Ничего нет противнее сыра. Неопрятная брошенная развороченная тахта желтела неостывшим сном. Валялась скомканная рубашка. Игнациус намотал в пальцы угол простыни и стащил ее на пол – со всеми делами. Нельзя любить женщину, у которой плесневеет в тарелке вчерашний ужин и целыми днями распахнута мелко измятая пустая постель.

Он уже говорил об этом – тысячу раз.

Аня примчалась обратно и замахала руками.

– Ой, ты представляешь, я чуть было не сшибла Горгону! Ползет себе по коридору, я – тоже бегу… Еле-еле затормозила…

Она попыталась улыбнуться.

– Я опаздываю, – напомнил Игнациус.

– Сахара, оказывается, нет, и – у меня кончились деньги…

С деньгами было совсем плохо.

– Сколько тебе нужно? – спросил он.

– Рублей двадцать.

– Подумаем…

Ему было стыдно. Аня посмотрела на сброшенные подушки и ничего не сказала. Она ничего не говорила в таких случаях. Будто не замечала. Все-таки надо сдерживаться. Он стал слишком раздражителен. Это ужасно. Это старческое перерождение психики. Он знал об этом. И все-таки надо сдерживаться. Мелочи. Быт. Суета. Она очень старается.

– Неужели же ты не могла все, как следует, рассчитать! – вдруг взорвавшись, запальчиво сказал он.

Накатила горячая душная болезненная волна.

Часы показывали семь тридцать пять. Было обычное сердцебиение. Правда, немного сильнее. И была обычная неприятная сухость во рту. А еще вдобавок, чего раньше не наблюдалось, медленно плыла голова, и он никак не мог остановить вращающуюся вокруг него комнату.

Аня прятала виноватые жалобные глаза.

– Сегодня у одной из наших сотрудниц – день рождения…

– Конечно, иди, – сказал Игнациус.

– А ты – как?

– У меня срочный перевод, я буду долго работать вечером.

Это была неправда. И они оба знали об этом. Игнациусу хотелось ударить самого себя.

Аня вдруг наклонилась, как кукла, и прижалась лбом к его плечу.

– Ну зачем ты, зачем? – очень быстро, с проскакивающими в

голосе слезами, сказала она. – Ну давай я никуда не пойду? Они мне не нужны – только ты… Но я же не могу целый день сидеть в жутких стенах и задыхаться от твоего бесконечного молчания.

– Действительно, – согласился Игнациус, поймав, наконец, зрачками мутный прыгающий рисунок обоев. От волос ее терпко припахивало эликсиром и он поморщился. Запах был неприятный. И еще ему было неприятно, что она прижимается. – Конечно, иди. И – не думай, не мучайся – ты мне ничем не обязана.

– А ты очень меня не любишь? – спросила она.

– Очень, – сказал Игнациус.

– Это Ойкумена, – сказала она.

– Нет, это – я сам, – сказал Игнациус.

Нельзя любить женщину, которую не любишь. Потому что тогда начинаешь ненавидеть каждый ее жест, каждую интонацию, каждое ее неосторожное слово. Он сидел в сквере напротив своего института и глядел, как меняются зеленые цифры на табло при входе. Время и температура. Температура и время. Был март. Отсырели и стекли за горизонт дряхлые выдохшиеся морозы. Клочья синевы продрались к полудню из мокрых туч. Хлынули на город потоки рыжего света. Дул резкий ветер с залива и под тревожным упорством его оседал ноздреватый прогревшийся снег в сугробах. Чернели поперек тротуаров первые неуверенные ручьи. Пучился грязный наст в каналах. Сладкие тягучие соки распрямили артерии тополей и, дойдя до их самых конечных, до самых их тонких веточек, с болью и наслаждением отщепили коричневые почки на них. Прояснившийся воздух стал горек.

У Игнациуса совершенно не было сил.

Капелюхина встретила его нервно и раздраженно:

– Вы опять опоздали, – сказала она.

– Да, – подтвердил Игнациус.

– Это уже не первый случай.

– Я знаю.

– Так больше продолжаться не может.

– Разумеется, – сказал он.

– Я была вынуждена пропустить начало конференции, чтобы лично включить прибор. Я предупреждаю вас самым серьезным образом…

Игнациус, спасаясь, уткнулся в смотровое окошечко. Прибор назывался «ДМЗ» – дестабилизатор механической защиты. Его изобрела сама Капелюхина: обруч, проложенный войлоком, зажимал куриное яйцо, а пульсатор (заостренный на конце молоточек) тюкал его под заданным углом и с заданной силой. В обязанности лаборанта входило снимать разбитое яйцо и ставить

новое. Капелюхина особо следила, чтобы использованные яйца не пропадали. Она уже защитила докторскую и шла прямиком на профессора. Игнациус накинул халат. Сотрудники лаборатории косились на него с острым и нескрываемым любопытством. Он был легендарной фигурой: увольнение, плагиат, скандалы.

– А знаете, Александр Иванович, – обратился к нему кудрявый Гоша, – в Южной Америке обнаружили целый неизвестный народ? Несколько тысяч человек на стадии средневековья. Сплошные загадки. Они появились непонятно откуда, обликом явно европейцы и говорят на языке древних белгов.

Игнациус пожал плечами. Ойкумена не интересовала его. Нельзя любить женщину, которая тебя обожает. Обожание утомительно, оно, будто клейкая паутина, опутывает человека – хочется немедленно освободиться. И уйти навсегда. Любить можно только безответно. А взаимная любовь – это абсурд. Он нажал кнопку. Пульсатор качнулся и острым клювом тюкнул по скорлупе.

После работы он снова спустился в сквер и уселся на ту же отдельную мокрую покосившуюся скамейку. Делать ему было абсолютно нечего. Дожидавшийся Анпилогов немедленно подошел к нему, протягивая чистенькие, без морщин, купюры:

– Вот тебе – двадцать рублей.

– Теперь будет – ровно сто. Плата за слепоту и безразличие.

– Не понял, – сказал Анпилогов.

– Я ведь не отдам, – признался Игнациус, улыбаясь и пряча деньги в карман.

– Пожалуйста, – Геннадий равнодушно кивнул. Он был без шапки – худой, хрящеватый, с бледным замерзшим редковолосьем на голове. – Не стесняйся в дальнейшем. Если тебе понадобится еще…

– Ладно, – сказал Игнациус.

– Старик уже звонил к вам в институт – они отрегулируют твою Капелюхину.

– Ладно, – сказал Игнациус. Повернулся и с интересом посмотрел на него – снизу вверх, из ветвей, обнесенных ледяшками. – Значит, ходили в театр? Цветы, шампанское?.. Наверное, поцеловал ей руку?..

Анпилогов покраснел так, что бесцветные волосы его стали казаться чужими.

– Если ты думаешь, что я способен…

– Способен, способен, – сказал Игнациус. – И правильно, что способен. Привет – Геннадий…

Он пошел на другую сторону улицы. Запрещая, горел

светофор и машины, негодующе разбрызгивая слякоть, шарахались от него. Обрывались сосульки. Часто капало с крыш. Красное вечернее солнце растекалось в зеркальных витринах универмага. Бурлили у метро зловещие толпы народа. В половину неба пылал над черными трубами холодный желтый закат. Там, по-видимому, догорала Ойкумена. И в агонии корчились злобные панцирные жуки. Месяца три, не больше, подумал Игнациус. Предположим, он доживет до семидесяти. Это в лучшем случае. Значит – март, апрель, май. Начало июня. Нельзя любить женщину, если – март, апрель, май. Начало июня. В лучшем случае. Вообще невозможно любить. Он механически топтал скользкую ледяную кашу. Трамваи отбрасывали с рельсов фонтаны воды. В конце проспекта на шелковом полотнище неба темно-синей трехглавой громадой теснились широкие купола собора. Время было, как этот закат. То есть – красного цвета и желтого цвета. И такое же, как закат, холодное. Беспощадным потоком своим оно пронизывало его – вымывая всю жизнь, оставляя пустую ненужную скорлупу.

Он свернул вдоль собора. Валентина уже поглядывала на часы. Изнывающий Пончик буквально подпрыгивал.

– Папа, ты только недолго, – противно загудел он, приседая и дергая Игнациуса за рукав. – Десять минут погуляем и ладно? А то мы собрались в кино…

– Какое кино?

– Про пиратов…

– Он давно просится, – объяснила Валентина. – А на завтра сеансов не было.

– Не хочу с тобой гулять, – ныл Пончик. – Ты меня водишь-водишь по улицам – скучно… А Серегин папа купил ему настоящее большое ружье. Ну, не настоящее – стреляет пробками. Ка-ак даст!.. Ну, давай не пойдем гулять сегодня, а то в кино не успеем…

Валентина тряхнула его за мокрый воротник.

– Помолчи!

– Ну, чего – я? Я только хотел…

Валентина еще раз тряхнула его:

– Помолчи!

– Тогда до свидания, крокодил, держи корягу, – с облегчением сказал Игнациус и протянул пятерню.

Пончик шлепнул по ней.

– Взаимно!

Валентина, однако, не уходила.

– Мы могли бы пойти вместе, – наконец, сказала она. И на скулах ее зажглись знакомые мятые пятна. – Я купила по случаю

три билета – на всех…

Игнациус моргал в изумлении. Желтые полосы заката утягивались за собор, небо быстро темнело и горький прозрачный воздух наливался губительной чернотой.

Он отчетливо произнес по-испански:

– Возьми все, что хочешь, сказал бог. Возьми. Но заплати за все.

Жутковато, как будто из другой галактики, прозвучали гортанные переливы на вечерней мартовской капающей и текущей улице.

– Ну и дурак, – высокомерно сказала Валентина. Застегнула перламутровые пуговицы на шубе и, как фурия, обрушилась вдруг на неповинного Пончика. – Что ты ноешь?.. Ты замолчишь, наконец?..

Игнациус смотрел, как они идут вдоль проспекта, к далекой трамвайной остановке: жужелица-Валентина заколачивала каблуки в асфальт, а светлячок-Пончик подпрыгивал, не успевая за нею.

Честно говоря, он был только рад.

Нельзя жить в мире, от которого сохранились одни развалины: призраки, пепелища, сладкий дурманный ветер над скелетами голых руин.

Он вздохнул. В автобусе его стиснули так, что тупая заржавленная игла, давно уже появившаяся в груди, беспокойно заныла – приближаясь к сердцу. И до сердца ей оставалось совсем немного. Был час пик. Не хватало пространства. Майский жук в роговых очках давил на него распухшим портфелем, две вертлявые тощие стрекозы, прихорашиваясь, терлись о спину, а молодой джинсовый паучок больно упирался в ребра острыми костяными локтями. Копошились гибкие крючки и жвалы. Ойкумена все-таки настигла его. Победить, оказывается, невозможно. Реальны только поражения. Пустыня может быть полна людей и все-таки оставаться пустыней для того, кто пересекает ее. Идущий за миражом гибнет.

Он немного постоял на площадке и открыл дверь. Горгона караулила его в прихожей:

– Краля твоя опять сортир не вымыла, – просипела она. – Я ей говорю: насыпь хлорки в горшок, вонять не будет, а она не сыпет. И коклету мою, обратно, слопала. Она думает, если ночью пришла и на цыпках по колидору пробегла, так ее и не слышно. А я чутко сплю, дергаю одним ухом: вышла – кто там шебуршит? А это она посередине кухни – босая, в исподнем, сиськи торчат – и коклету мою, обратно, лопает. Я ей вежливо говорю: зачем мою коклету лопаешь, паскуда? Я больными ногами иду в магазин,

покупаю собачьего фарша за двенадцать копеек, жарю его на малгарине, поливаю купоросом, чтобы не отравиться, и делаю себе коклеты для организма. А ты мои коклеты нахально лопаешь посреди ночи. Так ее думала пристыдить, думала, совесть у нее найдется. Куда там! Поворачивает тараканьи свои бельмы, нагло дожевывает и говорит: у вас, говорит, гальюнации, Анастасия Никодимовна… Какие-такие гальюнации? Сроду у меня гальюнаций не было… А живет, говорит, в нашем доме человек по имени Клопедон. Никто его не видел и квартира его неизвестно где. А только, значит, живет. Вот этот самый Клопедон – ему сто лет. Он еще до революции здесь дворником служил и все ходы знает. Днем Клопедон спит, а ночью бродит по лестницам, палец у него железный – отпирает любую дверь. Людей он не трогает, а где чего съестного найдется, вмиг заберет и стрескает. Это он вашу коклетку утындырил. Я, говорит, когда на этаж поднималась, он мне навстречу попался: здоровенный такой мужик, голова, как котел – пустая, рожа – красная, обваренная, вместо волос – швабра, и глаза светятся. Вообще, говорит, он смирный, но если, например, кому коклету жалко, то может и убить. Потому что ему тогда стыдно делается за свой аппетит. Аппетит у него – страшный. От стыда и убивает. Так что вы, Анастасия Никодимовна, по вопросу о коклете громко не выступайте, а то Клопедон услышит и, значит, – того…

– Как фамилия? – переспросил Игнациус, стараясь протиснуться мимо нее к дверям.

– Клопедон, – таинственно понижая голос, повторила Горгона. – Вот гальюнация, так гальюнация, я теперь заснуть не могу – вижу: стоит мужик в шароварах, сам голый, голова, как чугунный котел, перевесилась, и мне пальцем грозит: у-у-у, старая!.. – Горгона обидчиво шмыгнула. – Уж, казалось бы, месяц живем, подружились, вон ты давеча мне кошачьей шерсти в кастрюлю настриг, так я ничего – выловила и обратно к вам…

– Хорошо, – сказал Игнациус. – Я завтра поговорю с ним, я его знаю, действительно – Клопедон, он у нас в институте вахтером работает. Вдумчивый серьезный товарищ. Не переживайте, Гор… Анастасия Никодимовна, лично к вам он больше заходить не будет.

Горгона слегка успокоилась и вытерла мягкий нос огромным платком.

– Я тебя уважаю, Санваныч, ты человек положительный, а краля твоя хвостом вертит. Только ты из дома, она – щелк, и нет ее. Какая-такая работа до полуночи? С шаромыжниками гулять – такая работа!.. Взял бы да отхлестал вожжами, она тебе кто? – жена невенчанная, то-то и оно, а ты размяк, дурень. Прибей и

выгони, покажи характер! – Горгона энергично кивала. – Может, тебе водочки налить? – весь-от посинел, прямо малиновый…

– Я не пью, – сказал Игнациус.

– Потому и добрый.

Погремев чем-то в шкафчике и неразборчиво пошептав, она налила ему треть стакана. Водка была очень противная. Игнациус, морщась, выпил и пошел в свою комнату. Там было прибрано, проветрено и даже вымыт крашеный пол. На расправленной чистой клеенке белела записка от Ани: «Не ищи меня, больше сюда не вернусь». Аккуратные строчки на длинном клочке бумаги. Игнациус пожал плечами и скомкал ее. В общем-то ему было безразлично. В открытой форточке грохотала шальная капель. Хлюпало, ухало, чмокало и свистело. Мазнуло по лицу водяной прилипающей пылью. Комья снега подтаивали между окон. Он во весь рост повалился на скрипнувшую тахту. День заканчивался. Растекались минуты. Водка совсем не действовала на него. Нельзя любить женщину, которую уже любил когда-то. Когда-то очень давно, много лет назад. В пылких снах и юношеских мечтаниях. Вообще невозможно было любить. Потому что – бессмысленно, и потому что – напрасно. Потому что теряешь тогда – все, что есть. Потому что любовь пожирает – всю жизнь, без остатка. Отдаешь целый мир и ничего не получаешь взамен. А идущий за красочным миражом – погибает. Водка все-таки медленно действовала на него. Стало жарко. Дремотное сознание прояснилось. Игнациус дышал в узорчатую ткань тахты. Как в туманном волшебном зеркале перед ним выплывало: диссертация, Жека, Анпилогов в ботве… вечно ноющий Пончик, метания, провал на защите… помертвевший бессильный Созоев, остекленелый Грун… Валентина в распахнутой шубе, чужое лицо матери… Он как будто перелистывал альбом своих давних потерь. Фотографии, серый картон. Альбом идиота. Страница за страницей проваливались в никуда. Дождевой будоражащей свежестью тянуло из форточки. Аня села вдруг на тахту рядом с ним – наклонившись и положив ладонь на затылок. Тем же запахом эликсира веяло от нее. Пальцы были холодные и чуть влажные.

– Ты не спишь? – спросила она. – Нет, не сплю, – после паузы ответил Игнациус. – К сожалению, я не могу уйти. Я как будто привязана к этому дому… – Очень жаль. – Игнациус замолчал. Аня вздрогнула и немного поежилась. – А на улице – сыро и все течет… – Просто – оттепель, – неохотно сказал Игнациус. – Просто оттепель? Я думаю, что уже – весна… – Ну – не надо, не надо! – сказал Игнациус. И рука, которая гладила его, осеклась. Аня выпрямилась и, кажется, стиснула зубы. – Ты, конечно, мне

не поверишь, но я люблю тебя. – Сообщи об этом по радио, – сказал Игнациус. – Я люблю тебя и поэтому погиб Персифаль… – Наступило молчание. А через секунду. – Ах, вот как?.. – Он не мог стать мне мужем, потому что я любила тебя. – Ну – не надо, не надо! – вторично сказал Игнациус. – Тебе очень плохо? – спросила она. – Нет, пожалуй, терпимо, – ответил Игнациус. – Все-таки, единственный, кого я жалею – это Персифаль. – И опять наступило молчание, точно обрезало. – Но ведь я ничего не могла поделать, – сказала она. – Ты нисколько не виновата, – сказал Игнациус. – Может быть, но если не любишь, то – всегда виноват. – Да, конечно, я – виноват, – согласился Игнациус. – Нет!.. Не думай!.. Я вовсе не о тебе!.. – Хорошо, – терпеливо сказал Игнациус, – пусть я не виноват, но я тебя не люблю. Не люблю, не люблю! И давай на этом закончим!.. Все! Закончим! Закончили! Теперь – уходи!.. – Он задвигал локтями и перевернулся на спину. Потолок был ободранный, в летаргической паутине годов. – Как ты думаешь, сколько тебе осталось? – спросила Аня. – Я не знаю… Немного… – В июне? – По-видимому, июнь… – Обещают, что июнь будет очень жаркий. – Ну уж это мне теперь все равно… – И потом, неизвестно еще, а вдруг ты ошибся?.. – Не волнуйся, я не ошибся, – раздраженно сказал он.

Сел рывком и в надтреснутом зеркале на стене увидел свое отражение. Постаревшее, серое, осунувшееся лицо. С утра протекли уже три месяца, но пока изменений не было. Только, кажется, немного побелели виски. Он придвинулся к зеркалу и повернулся в профиль. Да, действительно, чуть-чуть побелели виски. Да, действительно, виски чуть-чуть побелели.

– Я не ошибся, – вяло сказал он.

Глава 11

У него обнаружили геронтофагию, «пожирание старостью». При этой болезни резко ускоряются некоторые обменные процессы в организме, постепенно выпадают волосы, тускло обесцвечиваются глаза, ревматическая боль нежно покусывает суставы. Начинается преждевременное старение. Человек как бы скользит по возрасту, пробегая за один день несколько месяцев своей жизни. Субъективно это почти не ощущается. Полагают, что геронтофагия связана с распадом биологических часов. Или с нарушением психологического восприятия действительности. Как-то примерно так. Я не специалист. Болезнь эта чрезвычайно редкая и чрезвычайно загадочная. Причины возникновения ее непонятны. Никаких лекарств нет.

Игнациуса обследовали очень долго и очень тщательно. Ему предложили лечь в клинику и поставили на медицинский учет. Он, естественно, от всего отказался. Как и многие на исходе лет, он испытывал острую неприязнь к врачам. Недоверие. Смутную настороженность. Раз в неделю его посещал участковый терапевт. Но и только.

Он остался жить в своей прежней квартире, хотя Горгона писала слезные жалобы в горисполком, требуя выселения заразно больного тунеядца. Геронтофагия не опасна для окружающих. Ему дали бюллетень до конца года, и у него образовалась масса свободного времени. Он не представлял, куда его тратить. Он вставал рано, потому что страдал бессонницей – день проходил в утомительном перемалывании длинных, как эпохи оледенения, светлых и пустых часов. Он физически чувствовал это время, текущее сквозь него. Будто поток проникающей радиации. Ночью он обычно лежал без сна, распахнув легкие веки, и в зашторенной темноте слушал безжалостный треск секунд. Он совсем ни о чем не думал. Думать было утомительно. Его никто не навещал, потому что он не хотел этого.

Я его знаю – грузный большеголовый неопрятный старик в мятом костюме и разношенных плоских туфлях со шнурками, зажав коленями отполированную палку, положив бульдожьи щеки на набалдашник, неподвижно сидит на скамейке в пыльном сквере и глазами из бутылочного стекла упирается в какую-то далекую, непонятную, одному ему видимую точку. Сжатые губы – изогнуты. Рефлекторно подрагивают пегие кустики бровей. Вспоминает ли он при этом о чем-нибудь давно позабытом или, наоборот, старается изгнать нечто из памяти – неизвестно.

Сквер у нас небольшой, он разбит на месте снесенного

углового дома, две глухие стены без окон огораживают его. С левой стороны проходят трамвайные рельсы на булыжнике, а по правую руку – шумная многоголосая торопливая улица. Несколько чахлых измученных тополей, тянущихся к небу ветвями, заколоченная в землю кремнистая щебенка, детский квадрат с окаменевшим песком и застрявшие на полувзмахе качели. Пейзаж довольно унылый. Однако, народу хватает. Скамейки обыкновенно заняты. Даже на песочнице устраиваются говорливые старухи. А вот он всегда один – к нему не подсаживаются. Он не разговаривает ни с кем, не читает газет и затрепанных пухлых журналов, не присматривает за детьми, не играет в бесконечные шашки со знакомыми из ближайших парадных. Как я догадываюсь, пенсионеры нашего района, спаянные многолетним общением, тихо ненавидят его. Он – сам по себе.

Однажды, чисто случайно, даже не подозревая о сложных дворовых отношениях, исторгнувших его, я уселся рядом и он рассказал мне свою историю. Видимо, это была минутная слабость. Иногда желание рассказать угнетает хуже любой болезни. А может быть, я ему просто понравился. Трудно судить. Была середина мая, ранняя густая теплынь, незрелое солнце, клейкая зеленая опушь в кронах тополей, и мне странно было слушать про таинственную Ойкумену, лежащую на границе дня и ночи, про великое царство насекомых, все-таки разрушенное человеком, про загадочные часы на башне, в стрелках которых запутался ход времен, про яростного свирепого Экогаля, про Арлекина, изменника и борца за справедливость, про несчастного забытого Груна, который умер, потому что дочь Мариколя не смогла полюбить его.

А закончив, он равнодушно спросил:

– Вы мне, конечно, не верите? Правда?

– Не знаю, – честно ответил я.

Мне казалось, что он меня разыгрывает. Все это звучало, как сказка. Невозможно было поверить в нее, сидя на скамейке, в центре огромного города, под перестук трамваев и быстрое упорное шуршание прилипающих к асфальту шин.

– Не знаю…

Он обиделся и опять замкнулся в себе. С тех пор, пересекая сквер по пути к дому, я непременно здоровался с ним, но он мне уже не отвечал и даже не поворачивал головы в мою сторону. Люди часто жалеют об излишней откровенности. В начале июня, когда навалилась слепая жара, его все-таки забрали в клинику и больше мы не встречались.

Вероятно, я уже никогда не услышу о нем.

Вероятно.

Жизнь смывает и не такие истории.

Кстати, я видел Аню и даже разговаривал с ней. Мы как-то столкнулись на улице, и она спросила что-то об экзаменах в нашем институте. Кажется, она собиралась туда поступать. Она действительно очень симпатичная, но ничего особенного – такого, чтоб потерять голову – я в ней не заметил.

Красивая девушка – вот и все.

Некоторое время она еще жила в нашем доме, а потом вышла замуж и переехала.

1986 г.